

НИКОЛАЙ АХШАРУМОВ

КОНЦЫ В
ВОДУ

Часть сборника: Тайна угрюмого дома: старый русский детектив (сборник)

Николай Ахшарумов

КОНЦЫ В ВОДУ

«Public Domain»

1872

Ахшарумов Н. Д.

Концы в воду / Н. Д. Ахшарумов — «Public Domain», 1872

«Вначале осени я ехал к кузине Ольге в Р** через Москву и занял место в простом вагоне 2-го класса. Спальных я не люблю за их духоту и за то, что в них тесно от слишком большого числа удобств, ни одно из которых не отличается чистотой и ни за одно из которых нельзя поручиться, что оно вдруг не будет обращено в постель. К тому же, я сплю недурно и сидя; но я не терплю тесноты, а на этот раз, как нарочно, весь 2-й класс был битком набит...»

Содержание

Часть I	5
I	5
II	9
III	12
IV	16
V	18
VI	22
VII	25
Часть II	35
I	35
Конец ознакомительного фрагмента.	37

Николай Дмитриевич Ахшарумов

Концы в воду

Часть I

Кузина Оля

I

Вначале осени я ехал к кузине Ольге в Р** через Москву и занял место в простом вагоне 2-го класса. Спальных я не люблю за их духоту и за то, что в них тесно от слишком большого числа удобств, ни одно из которых не отличается чистотой и ни за одно из которых нельзя поручиться, что оно вдруг не будет обращено в постель. К тому же, я сплю недурно и сидя; но я не терплю тесноты, а на этот раз, как нарочно, весь 2-й класс был битком набит. Мало того, в вагоне, как раз у меня за спиной, расположилось семейство с грудным ребенком, который ревел весь день на руках у матери. К ночи, особенно когда затворили окна, соседство это стало невыносимо, и я решил перейти в 1-й класс, что оказалось, однако, не так легко. После трех неудачных попыток найти мне место кондуктор, видимо затрудненный, привел меня в семейное отделение, почти совершенно пустое, и, перешепнувшись с дамою, которая там сидела одна, стал зажигать фонарь.

– Не нужно, – запротестовала она.

Но блюститель порядка не считал себя вправе оставить нас без огня, и фонарь был зажжен, причем я заметил, что дама спустила вуаль... Через минуту раздался сигнальный свисток, и мы помчались. Угадывая по разным приметам, что путешественница до моего прихода лежала, я извинился в том, что ее потревожил. Она перебила сухой и короткой просьбою не стесняться, что я и исполнил очень охотно, вытянув ноги на одно из порожних мест против меня. Она отвернулась. Тусклый свет фонаря обрисовал в углу темную закутанную фигуру; ни ног, ни рук, ни лица ее не было видно, и разговор, судя по тону ее ответа, казался мне невозможным. А между тем, что-то неуловимое обличало в ней молодую женщину.

С минуту я машинально смотрел на нее, но мало-помалу внимание ослабело, и мысли мои улетели далеко вперед. Я думал о том, как встретит меня кузина, которую я не видел пять лет. Она без меня вышла замуж и, как я после узнал, очень несчастливо. В последнем письме она извещала меня коротко, что уезжает в Р** к старухе-матери и, вероятно, останется там навсегда, потому что судьба поступила с ней очень жестоко. Об остальном она упоминала темно и в самых общих словах, по тону которых однако я мог угадать, что она все еще любит мужа и что ей было больно его покинуть. С мужем ее я был знаком со школьной скамьи, но это был человек меньше всего способный мне объяснить случившееся: некто Бодягин – барич с большими претензиями, но с сильно расстроенным состоянием и испорченною карьерою, служивший сначала в гвардии, в кавалерийском полку, потом пустившийся в спекуляции, игрок, волокита и мот, человек с бешеным темпераментом и больною печенью, мелочный, ограниченный и сухой. По возвращении в Петербург я не застал его там, – он был в отлучке, а из родни никто не хотел или не мог объяснить мне истинную причину его разлада с Ольгой. Я узнал только, что мне было уже отчасти известно, – что у них нет детей, что Ольга часто хворала и что они уже года три живут врозь. А впрочем, ни одного упрека против нее, что для меня равнялось полному ее оправданию... Бедная Ольга! Она как будто предчувствовала, что ей не суждено узнать настоящего счастья, – так робко она всегда смотрела в будущее и так недоверчиво

говорила о нем. Больно теперь вспоминать, но как-то невольно приходят на память все наши несчетные толки об этом будущем, толки и споры, в которых, казалось, было так мало личного, а между тем каждый, высказывая свой взгляд на жизнь, имел незримую меркою самого себя. За ширмой спокойной беседы о разных серьезных вещах шла маленькая игра личных надежд и расчетов, в которой карты, хотя по правилу и закрытые, видны были часто насквозь. Ольга была почти красавица и, как водится в таком случае, я был одно время сильно в нее влюблен. Она оставалась всегда спокойна, а между тем, странно сказать, вся действительная атака шла с ее стороны, и мне приходилось только обороняться. Слово «атака», конечно, двусмысленно, но я не разумею под ним ничего завоевательного. У Ольги не было ни на грош кокетства, то есть умышленного. Это было простое, честное существо. В жизнь свою я не видел женщины менее занятой собою и меньше аффектированной. Но она надеялась искренно, что отношения наши, несмотря на родство, могут со временем измениться, и вся ее маленькая игра со мною клонила к этому. Как женщина и, вдобавок, застенчивая, она, разумеется, не вела ее прямо. Были уловки и хитрости, и много прозрачных намеков на наше личное дело в форме спокойного разговора о браке и семейной жизни. Признаюсь, я не раз колебался, и перспектива тихого счастья с Ольгой сильно меня подкупала. Но я был беден и вел цыганскую жизнь без всяких определенных надежд впереди, без всякой точки опоры в обществе. У ней не было тоже ни гроша. При этих условиях «тихое счастье» было, конечно, сомнительно. От него сильно попахивало ярмом семьянина-труженика и теснотою мещанской, пошленькой обстановки, природное отвращение от которых, вместе с невозмутимым взором Ольги и спокойным тоном ее речей, окатывали мою горячку такой холодной струей, что она скоро остыла. Вот тема, вокруг которой плелись узоры тысячи самых дружеских и, несмотря на наши ребяческие уловки, глубоко искренних объяснений. Они не привели нас с Ольгой ни к чему положительному, но в результате связали таким хорошим, теплым и прочным чувством, какое редко бывает плодом одинаково продолжительной связи другого рода. Где нет в основе сближения, страстной привязанности, а между тем обладание застраховано неизменно в одних руках, там люди становятся сыты друг другом во всевозможном смысле, и нет равнодушия более полного, как то, которое всякий из нас, конечно, не раз угадывал между людьми, связанными обетом вечной любви.

Ольге всегда очень не нравилось, когда я ей указывал на развязку подобного рода.

– Пустяки! – возражала она нахмурясь. – Большая часть мужей и жен любят друг друга искренно, хотя их любовь и не выказывается романтическими восторгами. Это чувство обыкновенное, и оно удовлетворяется обыкновенною меркою, но ты, как идеалист, ненавидишь обыкновенное, и эта ненависть заставляет тебя клеветать...

Тут была, как и во всех речах Ольги, своя доля правды, но она ошиблась в том, что корень противоречия, нас разделявшего, таился совсем не в наших характерах. Он был гораздо проще и, так сказать, фатальнее. Это была обыкновенная разница девичьего взгляда на брак со взглядом таких холостяков и цыган, как я. Для девушек это, с редкими исключениями, первый серьезный шаг в жизни, и потому они, естественно, боятся с ним запоздать; а для нас это часто бывает последний. Понятно, что мы без особых причин не желаем спешить. К тому же, в кругу людей нашего класса, живущих своим трудом, вся тягость бремени падает на мужа; а девушка, если она не героиня, раз ставши женою, считает свой подвиг уже оконченным и смотрит на все остальное, как на спуск под гору, не требующий уже усилия, а только маленькой осторожности, чтоб не свихнуться. И это я тоже говорил Ольге, что ее приводило всегда в ужасный гнев, и она начинала ругать мужчин... Милая Оля!.. Как теперь вижу тебя в знакомой комнате, в уголку, на диване, всю вспыхнувшую и в сотый раз открывающую огонь по неприятелю. Вижу твой легкий стан, круглое личико и ясные голубые глаза, сверкающие укором...

Поезд мчался как вихрь среди ночной тишины и глубокой тьмы. Убаюканный мирным стуком и непрерывным рядом мягких толчков, я начинал дремать. Нити воспоминаний путались, и мысли сменялись образами. Передо мной была Ольга, грустная и безмолвная. На исху-

давшем, но хорошо знакомом лице ее я читал укор. Она как будто хотела сказать: «Зачем ты покинул меня? Зачем не подал руки, когда я протягивала тебе свою так искренно? Вот я теперь далеко от тебя и несчастна. А ты? По-прежнему одинок – бездомный и бесприютный скиталец между людьми!..» Сердце мое щемило... Вдруг из-за бледного призрака Ольги выдвинулось и обрисовалось явственно чье-то чужое лицо. Это было лицо молодой и довольно красивой женщины, но только одно лицо; остальная часть головы и плеча, закутанные во что-то темное, тонули в потемках. Лицо было мягко освещено, и смятые пряди, выбиваясь из-под покрывала, сообщали ему какой-то усталый вид; а между тем в чертах не заметно было усталости и выражение их показалось мне далеко не мягким. Особенно поразил меня взгляд: бесцельный, но пристальный и чутко настороженный навстречу чему-то незримому... Впечатление было так резко, что я очнулся. Передо мною, наискосок, прижавшись в углу, сидела моя одинокая спутница, которой, должно быть, душно стало под вуалью, и она ее подняла. Я сидел или, вернее сказать, полулежал в тени, а потому ей трудно было заметить, что глаза у меня только прищурены; впрочем, она и не смотрела в мой угол. Вглядываясь в ее лицо, я замечал на нем минутами что-то тревожное и озабоченное. Она как будто работала мысленно над какой-то мудреной задачей, и эта работа была непривычна для нее, раздражала и удивляла ее... О чем она думает? Отчего не спит?..

Свисток и протяжный вой... Мы едем тише... станция... Я привстал и выглянул... Сквозь запотелые стекла мелькнули огни, платформа и несколько темных фигур, снующих взад и вперед. Пассажиров нет... Через минуту мы снова тронулись. Я повернулся лицом к стене, заснул и проспал несколько станций. Я проснулся уже под утро, но на дворе было совершенно темно... Первое, что я чувствовал, это запах сигары. Несколько удивленный, я оглянулся и увидел, что спутница моя курит. Судя по всему, она не спала, и на лице у нее на этот раз заметна была усталость.

– Вам не спится? – рискнул я.

– Нет. Я вам завидую... Я не могу спать в вагоне.

Сигара и храбрый тон ее ответа рассеяли мои прежние опасения насчет того, что я ее стесняю. Какая бы ни была причина, заставившая ее на первых порах опустить вуаль, но робость была, очевидно, тут не при чем. Она теперь смотрела мне прямо в глаза и не думала опускать свои, когда я вглядывался в ее лицо. Чтоб окончательно утвердить между нами дорожный принцип свободы, братства и равенства, я достал сигару. Она сама предложила огня.

Минут через пять мы разговаривали без всяких стеснений, и я узнал, что она тоже едет в Москву.

– У вас сигары однако лучше, – сказала она.

Я предложил ей. Она преспокойно выкинула свою в окно и взяла у меня. При этом я заметил у ней на пальце маленькое кольцо с рубином... В К**, когда стало уже светать, она выходила, причем опять опустила вуаль. Уходя, она обронила платок. Я поднял его и положил на место. Платок был надушен и вышит по уголкам: на одном из них я заметил корону и вензель: «Ю. Ш.»

Подъезжая к Москве, она объяснила мне, что там в первый раз, не знает гостиниц и боится попасть в такую, где неудобно; но она не сказала мне, что именно для нее неудобно, и только в ответ на мои вопросы упомянула слегка, что она не выносит толпы и шума. Судя по общему впечатлению, это казалось довольно невероятно; однако уединенное место, которое она приискала, и дважды опущенная вуаль сбивали меня. «Кто это, – думал я, – и что у нее на уме?.. Бежит от кого-нибудь или прячется?..» Не знаю, что именно меня подстегнуло, но мне не хотелось расстаться с нею так скоро. Я начал ей объяснять, что сам не люблю гостиниц, и кончил тем, что предложил ехать вместе, искать меблированные комнаты. Она посмотрела пристально мне в глаза, но не сказала ни слова. В Москве, когда мы остановились, она опять

опустила вуаль. Я был уверен, что она тотчас уйдет, и хотел поклониться, но она обратилась ко мне совершенно спокойно:

– Чего же вы ждете? Ведь вы предлагали мне ехать вместе?.. Вот мой багажный билет; ступайте, распорядитесь.

Через час мы были на Дмитровке в меблированных комнатах и занимали две комнаты рядом.

II

Знакомство это окончилось так же странно, как началось. Она прожила возле меня сутки, и в течение этого времени мы виделись только раз. Весь день я провел в разъездах; да и она, помнится, исчезала куда-то. Вечером было еще не очень поздно, когда я вернулся в номер. Осматриваясь, я заметил, сквозь щель, в соседней комнате свет, вспомнил свою попутчицу и постучался к ней в двери. Она открыла без всякого затруднения, но вместо того, чтоб впустить, вышла сама... Здоровая статная молодая женщина, в черном шелковом платье, с короткою распашною кофточкою; на шее стоячий воротничок с голубым галстуком, руки и уши маленькие, в ушах золотые сережки. Русые с золотистым отсветом волосы причесаны гладко, глаза светло-карие; вообще, ближе к блондинке. Вглядываясь в лицо, я не нашел в нем и следа того, что так поразило меня спросонок. Оно было просто, спокойно и, я прибавил бы, мило, если бы скулы и подбородок резким контуром своим не портили его красоты. Ничего эксцентрического; скажу даже более, она показалась мне простоватой, но впечатление это исчезло, когда мы начали говорить. Голос у нее был нежный, походка плавная, манеры и тон речей обнаруживали большую привычку к обществу.

Мы говорили мало, то есть, собственно, говорил я, а она не давала себе труда поддерживать разговор и, опустившись на спинку кресел, молчала или вставляла изредка односложный ответ. Я перепробовал несколько тем, но видя, что все они мало ее интересуют, начинал уже каяться в своей предприимчивости.

«Черт ее побери! – думал я. – Лучше оставить бы ее там у себя в покое да лечь спать...»

И в середине какого-то анекдота я потихоньку зевнул.

Она засмеялась.

– Знаете что? – сказала она. – Вы напрасно стараетесь меня занимать. С одной стороны, это трудно, потому что вы меня вовсе не знаете, а с другой, это лишнее. Я не требую с вас такой дорогой цены за дешевое удовольствие, которое я вам доставила.

Я просил ее объяснить, что она хочет сказать.

– Только то, – отвечала она, – что я не люблю принуждения. Вам было скучно, и вы от нечего делать захотели взглянуть на меня. Ну и смотрите, не утруждая себя напрасной любезностью. Смотрите, не торопясь; мне все равно – молчать там одной у себя или тут с вами; а когда спать захочется, я уйду... Дайте сигару.

Мы закурили, и мне почему-то вдруг стало весело. Пользуясь позволением, я смотрел на нее, не опуская глаз, и не заметил, чтоб это было ей неприятно или неловко. Напротив, судя по усмешке, игравшей у нее на губах, это ее забавляло, и она, вероятно, чтоб ободрить меня, отвечала мне тем же. Сперва мы упорно молчали, желая как бы отдохнуть от прежней натяжки, потом разговор возобновился у нас как-то без умысла, сам собой.

– Вы долго пробудете здесь? – спросил я.

– Нет, уезжаю завтра.

– Жаль!

– Чего жаль?

– Так, вы мне понравились.

– Давно ли?

– Сейчас.

– Физически или иначе?

– И так и иначе.

– Ну, если вы не лжете, то вот вам и тема для разговора. Рассказывайте, что вы во мне нашли? Да только без оговорок, чтоб не терять по-пустому время.

– С чего начать?

– Да все равно, начните хоть с физиологии: это яснее, и мне легче будет вас уличить, если вы станете врать.

– Хорошо, только возьмите, прошу вас, в соображение, что я не художник и не могу передать вам моих впечатлений в тонкости.

– Которой, вдобавок, и нет.

– Почему?

– Ну, полноте! Вы еще спрашиваете. Какие тут тонкости, когда на женщину смотрят так, как вы на меня сейчас смотрели.

– Надеюсь, что я не обидел вас?

– О, нет; что ж тут обидного? Это естественно, хотя и совсем не тонко. Вы все так смотрите, когда не имеете надобности обманывать или, пожалуй, обманываться насчет того, что вам нравится в нас. Если женщина не урод, если она молода, здорова, то этого и довольно, чтобы она вам нравилась... Правда?

– Да, правда, – отвечал я, – но правда самого низкого сорта. На этот раз она немного обиделась.

– Я не видела высшей, – отвечала она, надувши губки, – и потому не верю в нее. Впрочем, для вас это все равно; продолжайте.

– После того, что сказано, – продолжал я, – и что я по совести не могу оспаривать, мне остается только прибавить, что не все женщины нравятся одинаково даже в живописном смысле. Есть разные типы и степени красоты. Есть, например, красота романтическая, тип хорошо известный, потому что им занимались поэты... Худоба, бледность, истома, мечтательный или тоскливый взгляд, говорящий о безнадежной страсти.

– А, знаю! – договорила она презрительно. – Это больничный род красоты?... Ну, это ко мне не относится. Я, слава Богу, совсем здорова.

– И есть красота другого рода: классическая...

– Что это такое «классическая»?

– Это тот тип красоты, высшие образцы которого воплощены в античных статуях. Тип ясный, спокойный, величественный...

– И флегматический?

– Ну, это едва ли.

– Однако... Я видела этих каменных женщин. Все они имеют вид сытый, откормленный и смотрят так, как будто бы им ничего на свете не нужно, даже и платья. Собственно, нельзя сказать, чтобы они смотрели, потому что у них нет зрачков.

Я улыбнулся.

– Ну, а вакханки? – сказал я. – Это тип неоспоримо страстный, а между тем это тоже античная красота.

– Вакханки? – повторила она, стараясь припомнить. – Ах, да, я видела. Это раздетые пьяные женщины, которые пляшут или валяются по полу с кубком в руках... Неужели вам это нравится?

– В своем роде – да.

– Странно!.. Надеюсь, однако, что вы меня не причисляете...

– К вакханкам? О, нет. У вас красота совершенно другого рода.

– А! Наконец-то... Ну, ну, говорите, какая?

– Это, если позволите так выразиться, красота затаенной страсти.

– Что? – сказала она, опуская глаза. – Я вас не понимаю.

– Будто бы?

– Право.

Я смотрел ей в лицо, и мне невольно припоминалось странное его выражение ночью, в вагоне, когда она вовсе не думала обо мне. – Слушайте, – продолжал я, ошупью связывая свои

рассеянные догадки, – красота эта с виду скромна и не бросается в глаза никакими эффектами. В покое вы можете ошибиться, приняв ее за выражение мира и тишины. Перед вами безгрешная дева с невозмущенной еще душой или счастливая мать семейства, та, что в домашнем быту дети и няньки зовут «мамашей». А между тем у этой «мамашки» в сердце огонь неутолимых желаний, в жилах клокочет растопленный металл. И если от этого внутреннего огня что-нибудь проскальзывает наружу, а иногда это невольно случается, то вот это и будет тот род красоты, о котором я говорю.

Сухая усмешка зарницей играла у ней на губах. Медленно выпрямляясь, она подняла на меня свои бронзовые зрачки и вдруг покраснела.

– Кажется, я угадал?

– Нет... а впрочем – не знаю... может быть... Знаете, тайное у нас, женщин, трудно угадывается, и особенно вчуже, со стороны. Легко ошибиться.

– Конечно... Но будьте искренны; между нами, мы ведь не знаем друг друга и по всей вероятности никогда больше не встретимся, признайтесь, ведь я не ошибся?

Она потянулась, как кошка, лениво, но с затаенною силою в мягких членах и с хищной негой телодвижения. В полузакрытом взоре ее, в усмешке полуоткрытых губ светилось именно то, что я угадал... Другого ответа не нужно было, да она и не думала отвечать. Все флегматическое сбежало с нее как с гуся вода. Передо мною была опять та самая женщина, которая не могла уснуть в вагоне и три раза опускала вуаль.

– Пора, – сказала она, наконец очнувшись. – Прощайте. Но я был слишком молод и слишком мало расположен к советам стоической мудрости. Я взял ее за руку и, удерживая на месте, шепнул несколько слов, которые не имели бы смысла, если бы я их повторил теперь хладнокровно. Она не отнимала руки, а слушала молча и пристально всматривалась в мои глаза. Раза два при этом сухая усмешка мелькнула у неё на губах, и раз она покраснела... С минуту мне показалось, как будто она колеблется, но вдруг она вырвала руку, встала и, потряхнув головой, оттолкнула кресло.

– Нет, – отвечала она, смеясь, – это вздор!.. Впрочем, я не имею нужды играть тут с вами комедию. Скажу вам просто, я бы осталась; да и не я одна, большая часть из ваших безгрешных дев и скромных «мамаш» остались бы, если бы не боялись цены, которую женщины платят за этого рода вещи... Знаете эту французскую драму, где королева со своими сестрами кутят по ночам, в какой-то башне, а к утру, чтобы отделаться от нескромных любовников, топят их?.. Так вот, если бы можно и с вами так... Но это все пустяки, я не французская королева и, одним словом, прощайте! На другой день, поутру, я только что окончил письма и торопился идти. На уме у меня лежали дела нашей торговой компании, с которыми связаны были случайно и мои собственные... Слуга, молодой, глуповатый парень с салфеткой в руках, остановил меня в коридоре.

– Хозяйка велела спросить: вы долго изволите оставаться?

– Не знаю... А что?

– Вид надо бы прописать.

– Ну, хорошо, напомни вечером. Это было перед соседнею дверью.

– А что, № 3-й дома? – спросил я, вспомнив мою попутчицу. Он посмотрел на меня недоверчиво и с какой-то глупой усмешкой, словно не допуская, чтобы «номер» мог быть не дома.

– Никак нет-с, уехали, – отвечал он.

На уме у меня вертелось спросить: «Кто такая?» Но вопрос этот с отъездом терял почти весь интерес, и я его отложил до вечера, а к вечеру любопытство мое окончательно выдохлось. «Черт с нею! – решил я. – Кто бы она ни была, какое мне дело?»

III

Дела задержали меня в Москве дольше, чем я рассчитывал, так что я прибыл в Р** только 10-го сентября. Ольга, увидев меня в окно, выбежала навстречу как сумасшедшая, вся раскрасневшись, в слезах и в усмешках, и мы обнялись публично, на улице. В эту минуту я мог заметить только, что она похудела, но потом, когда оживление встречи прошло и было время взглянуть внимательнее, я убедился, что ей недешево обошлись эти пять лет. Бедняжка очень переменилась: прежний здоровый цвет лица и круглота очертаний исчезли, голос утратил свои музыкальные ноты; в усмешке, в движениях стало заметно что-то нервное. Она сама знала это, и несколько раз я заметил украдкой брошенный взгляд ее, который как будто спешил и вместе боялся прочесть у меня на лице грустный итог моих впечатлений. При матери я не решился ее расспрашивать; мы поняли в этом друг друга без слов и молчали о самом главном. Но после обеда, когда Анна Антоновна ушла к себе и мы с Ольгой у ourselves по-старому, в уголок, – всякое принуждение было брошено. По глубоко отрадному вздоху ее я мог легко угадать, с каким нетерпением она ожидала этой минуты.

– Пять лет!.. – говорила она, сжимая мне руки. – И ни одного человека возле, чтоб душу отвести!

Она, очевидно, щадила мать, но я убедился скоро, что ей и со мной нелегко быть искреннею. Она сбивалась, не договаривала, стараясь из всех сил смягчить грубую истину; путалась в этих усилиях как в сетях и часто, запнувшись на полуслове, вдруг умолкала, как бы сама испуганная тем, что готова была сказать. Несмотря на все эти задержки кое-что, однако же, выяснилось. Она успела меня убедить, например, что муж до брака был страстно в нее влюблен. С этой целью она читала мне письма, которые были довольно глупы и местами даже безграмотны, но неоспоримо страстны...

«Мой ангел! – писал он к Ольге еще женихом. – Моя божественная, безумно любимая Олечка! Я в отчаянии, узнав из твоего письма, что ты вернешься лишь в субботу или в воскресенье. Почему так долго? – И далее. – Без тебя ни минуты не спокоен. Вижу тебя во сне и наяву... не могу дождаться нашего свидания. Неправда ли, ты прижмешь меня нежно к своей груди? А я буду к тебе так нежен, что ты от блаженства сама себя не будешь помнить... Как рассказать мою невыразимую любовь к тебе, и что ты теперь навеки моя, моя Олечка! Моя женушка!» и т. д.

Пыл этот, однако, остыл после свадьбы скорее, чем можно было бы предположить, так скоро, что бедная Ольга, видимо, совестилась даже определить мне время – когда это случилось. «Через год?» – «Ах нет ранее...» – «Через полгода?» Она потупилась с таким видом, что я не решился даже и спрашивать далее, чтоб не заставить ее краснеть.

– В его оправдание, – заговорила она, минуту спустя, – я должна сказать, что его любовь все же была бескорытна... Он женился не по расчету.

Я посмотрел ей в глаза с удивлением, она опустила их и вздохнула.

– Подумай только, мой друг, что мог он искать во мне, кроме меня самой? Ни связей, ни состояния, а насчет роли, которую я могла играть в его кругу, ты знаешь сам: способна ли я на что-нибудь подобное... Неловкая, неумелая... В жизнь свою не помню еще ни разу, чтобы мне удалось произвести эффект.

Я колебался... Жалко было отнять у несчастной ее последние иллюзии, а между тем они мешали ей жить.

– Ольга, – отвечал я, скрепя сердце, – я знаю немножко Павла Ивановича, и ты не рассказывай мне о нем сказок. Павел Иванович влюбчив до гадости – это правда, но влюбчивость и любовь – две разные вещи... Ничего не искал в тебе кроме тебя самой?.. Да, пожалуй, если ты согласишься, что в тебе нет и не было ничего, кроме женской твоей красоты.

– Какая уж красота?

– Не говори пустяков, пожалуйста, и не прикидывайся, что ты меня не понимаешь. Я у тебя серьезно спрашиваю: разве есть какая-нибудь возможность для женщины, которая уважает себя хоть на грош, смириться с такой унижительной оценкой?.. Молчишь?.. Хоть постыдилась бы!.. Ольга! Я, право, тебя не узнаю... Куда ты девала свою девичью гордость, свои убеждения? Или это так, просто – бабство, и ты кривишь душой в его пользу? Если так, то мне незачем было и ездить сюда!

– Незачем? – повторила она.

– Не обижайся... Я говорю так грубо потому, что иначе с тобой ничего не поделаешь. Тебя надобно пристыдить хорошенько, чтоб ты опомнилась и убедилась в своей ошибке. Без этого нет никакой надежды ее исправить.

– Мое несчастье невозможно исправить.

– Да, если ты будешь ждать, что он разнежится и вернется. Признавайся, ты этого только и ждешь?

– Нет.

– Ольга, ты или лжешь, или, чтобы спасти свое самолюбие, играешь словами... Ну, я, пожалуй, выразился не так; пожалуй, не ждешь в собственном смысле, но все же желаешь?

Молчание... Мы сидели с минуту потупясь; она вертела в руках конец платка, наматывая его бахрому на пальцы. Я начинал уже терять надежду узнать что-нибудь далее.

– Что же мне делать, – произнесла она наконец чуть слышно, – если я еще люблю его?

Это поставило меня совершенно в тупик... Что – в самом деле? Что делать, если она его любит еще?.. Я однако же не хотел дать ей заметить, до какой степени этот ответ обезоружил меня.

– Надо понять, мой друг, что это ошибка, – отвечал я нравоучительным тоном.

– Ошибка – что?

– Твоя воображаемая любовь к Павлу Ивановичу. Ты любишь собственно не его, а свою фантазию. Тебе представляется человек совсем не тот, не такой, какой он действительно есть.

– Отчего не такой? Почему ты знаешь?

– Я знаю его.

– Ну, а если ты ошибаешься?.. Ведь это возможно? Он, может быть, совсем не так виноват. Я, может быть, сама виновата?

– В чем?

Она молчала. Слезы катились у ней по лицу... Мне стало досадно и жалко.

– В чем же ты виновата, Оля, милая? – спросил я, взяв ее за руку.

Глубокий вздох. Она подняла на меня заплаканные глаза и тотчас опять опустила их...

– Я, может быть, тоже была не та... не такая, как он ожидал. У меня здоровье слабое...

– Какой вздор!

– Да, мне доктора всегда говорили, что я малокровна. Я часто хвораю, бываю не в духе... расстроена. А он не любит этого, ему противно возле больной.

– Животное!

– Ах, нет, Сережа, ты не брани его. Он, право, совсем не такой... Это я уж такая плохая.

– Да отчего же так, Олечка?

– Так... Вот это тоже несчастье, – голос ее задрожал. – Нет детей!

– Разве он жаловался тебе на это?

– Нет.

– С чего же это тебе приходит в голову?

– Мне намекали об этом другие.

– Кто?

– Так... Один человек, который был здесь проездом, как раз перед тобою.

– Да кто такой? Она замялась.

– Я, собственно, не имею права, потому что я слово дала; ну, да ты ведь не выдашь меня...

Одна из его кузин, баронесса Фогель.

– Фогель?.. Какая Фогель?.. Я что-то не помню.

– Это одна из Толбухиных.

– И Толбухиных не знаю.

– Да и я тоже не знаю, но слышала. Она живет в Петербурге, и я сама ее не видала прежде.

– Странно!

– Фогель, – повторила она машинально. – Марья Евстафьевна... Она возвращалась из Петербурга в Орел, в свое имение.

– Но с какой стати... она?

– Так, она слышала о моем несчастье и желала со мной познакомиться. Только это секрет... Такая добрая!.. Приняла во мне такое участие!

– Зачем же секрет-то? И от кого?

– От Павла Ивановича. Она боится, чтоб он не узнал через мамашу или кого-нибудь из знакомых, здесь в Р**, что она заезжала ко мне, тем более, что это ей не совсем по пути...

– Постой, как же так? Разве она не была тут у вас?

– Нет.

– Где же вы виделись?

– У нее. Она останавливалась на постоялом дворе и присылала оттуда за мною.

– Тетушка, стало быть, ничего не знает?

Она кивнула мне головой утвердительно и сделала знак, чтоб я говорил потише. Мы замолчали.

– Знаешь что, Ольга? – сказал я, подумав. – Мне это не нравится.

– Отчего?

Но я не успел ей сказать, отчего, вошла старушка... Подали самовар...

Приезд мой, хотя и ожидаемый, по добрым русским обычаям поставил весь дом вверх дном. Беготня, хлопоты; горничные являлись и исчезали в дверях, как тени; тетюшка вскакивала и убегала ежеминутно со связкой ключей; на кухне готовили ужин, и стук поварского ножа доносился через отворенное окошко в столовую. Комната для меня была давно приготовлена: шторы, гардины, ковры и коврики, ширмы и умывальник, цветы на окошках – нужное и ненужное, все было тут расставлено, постлано и развешено заботливой рукой, и все казалось им мало. Водили смотреть, выпытывали, не позабыто ли что-нибудь, к чему я привык; потом увели опять в столовую и засадили за ужин, и после ужина, отпустив уже окончательно, подсылали еще людей с вопросами, которые заставляли меня хохотать: «Не прислать ли еще одеяла на ноги? Не попали ли в комнату мухи? Не нужен ли абажур на свечку?» и проч.

Утром на другой день, в саду, Ольга наконец собралась с духом и рассказала мне связно историю своего разрыва с мужем. Никаких явных поводов к ссоре и тем меньше формальных ссор между ними не было, но было много досадных маленьких столкновений, тайных недовольств и тихих жалоб с ее стороны, сухих, обидных упреков, насмешек и замечаний – с его. Он начал сперва избегать ее, потом совершенно бросил, и они не видались по целым дням: выезжали, обедали даже врозь. В конце второго года она не вынесла этой жизни, и после короткого объяснения, в котором высказала все, что у нее наболело на сердце, они расстались. Но еще долго после она жила в Петербурге, в семействе тетки, той самой, которая выдала ее замуж. В семействе этом любили Ольгу и всеми силами удерживали от переезда в Р**. Но шумная жизнь в большом кругу и на глазах у стольких свидетелей ее разоренного счастья стала для нее нестерпима. С мужем после разъезда она почти не виделась, но вела и до сих пор ведет еще переписку...

О чем – это она затруднялась сперва объяснить, но наконец призналась мне по секрету, что, между прочим, речь была о разводе.

– Кто предлагал?

– Он предлагал.

– Что ж ты?

Лицо ее вспыхнуло, и она начала говорить горячо, красноречиво против этой, как она называла, пустой формальности, которая не прибавляет почти ничего существенного к свободе людей, живущих врозь, а только ведет к скандалу. Она не хочет скандала и весьма основательно, потому что скандал в итоге всегда падает на женщину. Да и к чему? На что это им? Разве они мешают друг другу? Разве она не возвратила ему полной свободы, уехав сюда, за тысячу верст? И неужели он боится, что она явится к нему когда-нибудь с требованиями? Ей от него ничего не нужно, ни гроша! Она готова дать в этом подписку, готова отречься формальным образом от всего, но требовать, чтобы она выпачкалась в грязи – это низко! Да, низко! Низко!.. И она ни за что не согласится на это! Я принял это сначала за чистую монету и пытался ей возражать, защищая развод вообще, но она не слушала. Тогда я поставил вопрос иначе. Ей 25 лет, и в такие годы рано отказываться от всякой надежды. Как знать, что ее ожидает в будущем, и можно ли поручиться, что эта формальная связь, на которую она смотрит теперь так легко, не станет когда-нибудь у ней на пути преградой к счастью?

– Нет, я никогда не могу уже быть счастлива.

– Почему? Молчание...

– Ольга! Это неискренно! Посмотри-ка в глаза. Ну, так и есть. Ты со мною хитришь. Признайся, все, что ты сейчас говорила против развода, – дудки? Признайся, ты не желаешь развода только по той причине, что еще надеешься воротить потерянное?

Она не отвечала.

«Господи! Как она изменилась!.. Это совсем другой человек! – думал я, поглядывая на ее исхудалый стан и бледные, тонкие пальцы. – Тетушка может быть недаром твердит, что Ольга серьезно больна и что ее не следует вовлекать в слишком горячие споры».

IV

Погода стояла сухая, теплая, и мы каждый день уходили вдвоем куда-нибудь за город. В лесу пахло уж осенью, но в полях густые зеленые озими и трава, местами скошенная вторично, обманывали глаза. Кругом все так ясно и тихо. Летучая паутина носилась по воздуху длинными тонкими нитями; головки репейника, изгороди, кусты и даже земля местами затканы были как сетью их золотистой пряжей.

– Бабье лето! – сказал я. – Знаешь ли, отчего оно так названо?

– Оттого, что не настоящее, – отвечала Ольга. – Все, что фальшиво, призрачно и эфемерно, все это у вас – бабье.

Выходка эта, несмотря на ее горький тон, обрадовала меня. В ней слышалось что-то, напоминавшее прежнюю Ольгу. Это был первый отклик ее на старый призыв, первая искра старого огонька, мелькнувшая мне из-под пепла. В надежде его раздуть я ухватился усердно за эту тему. Женщины, мол, виноваты сами, если о них сложился такой приговор. Бабство – типичная черта их характера. В них нет устоя. Они слишком дешево ценят себя. Они куражатся на словах, а на деле роняют себя самым постыдным образом и т. д.

– Это на мой счет?

– Да, если хочешь, пожалуй, на твой.

– Чем же я так уронила себя в твоих глазах?

Я отвечал, что для меня непонятно: как может женщина, однажды обманутая, не отвернуться сразу и навсегда от дома, из которого ей указали двери... Но не успел я выговорить, как уж раскаялся... Мы шли полями. Она отскочила от меня вдруг, как ужаленная, и, вся побледнев, прислонилась к изгороди. Упреки посыпались градом. Я злой человек!.. У меня сердца нет! Я никогда ее не любил! Что она сделала мне, что я решил так ее оскорбить?.. Кто выгнал ее из дома? Павел Иванович? Никогда в жизни!.. Она покажет мне все его письма. Павел Иванович не думал ее выгонять... Она сама его бросила... Павел Иванович, напротив, жалеет...

– Кто тебе это сказал?

– Фогель сказала.

– Опять эта Фогель?

– А тебе что? Что ты имеешь против нее?.. Фогель совсем иначе со мной поступила, чем ты. Фогель, чужая, приняла во мне больше участия, чем ты когда-нибудь во всю жизнь принимал. Она не обижала меня насмешками не отнимала надежды, как ты!

Вспышка эта, однако, скоро прошла. Ольга простила меня от чистого сердца, и мы вернулись домой рука об руку, в самом дружеском разговоре; но я наконец убедился, что дело ее неисправимо. Это была одна из тех несчастных цепких натур, которые, раз отдавшись, не в силах уже вернуть своей свободы. Она была вся, всею душою в прошлом, и худо ли, хорошо ли, прошлое для нее было все. Она не видела, не желала помимо его ничего, не могла понять счастья иначе, как она его раз поняла.

«Не может забыть, – думал я. – Живет неизлечимой надеждой и с этой надеждой состарится или зачахнет! Стоит ли мучить ее еще? И не умнее ли, не человечнее ли оставить при ней ее иллюзии? Допустив даже, что их и можно отнять, – не была ли бы эта жестокость напрасная и ничем не оправданная?.. Истина хороша только в той мере, в какой мы можем сносить ее безобразие. Но есть вещи до такой степени гнусные в их естественной наготе, что лучше навеки ослепнуть, чтоб их не видеть. Что может быть, например, унижительнее такого сердечного рабства, как рабство этой несчастной?.. Два месяца прослужить живой игрушкой такому животному, как Бодягин, и за эти два месяца отдать все сокровища чистого сердца, весь жар молодой души, которая никогда не верила и не в силах поверить, чтоб сердце могло оставаться холодно, когда в крови горит кипучая молодая страсть!.. Для нее невозможен был этот раздел,

и потому она не могла представить себе его в другом. Целая – она и пошла вся, целиком, в обмен на его подонки¹... Пусть же она никогда не узнает, во что оценил ее этот эксперт. Пусть думает, что она сама виновата, что она совсем не такая, какая ему была нужна. И к чему ей знать, какая была ему нужна?.. Его идеал?.. О! Черт возьми! Если б на то пошло, я бы ему нашел идеал!»

Я был отпущен на ночь и лег уж в постель, но мне не спалось, как это случается иногда, когда раздраженная мысль не хочет окончить к ночи свою работу.

Едва за дверьми утихло, суетливая эта хозяйка, как мышь, которую на минуту спугнули, вернулась опять на то же место. Но она уж успела сделать дорогой находку, и очень курьезную... Идеал Павла Ивановича был ею найден и воплощен очень удачно в образе той милой барыни, охотницы до хороших сигар, которая так простодушно жалела, что не может остаться со мною, потому что меня нельзя утопить поутру. Откровенно, и вместе с тем осторожно, что свидетельствует о некоторой привычке прятать концы. Как жаль, что я не узнал тогда ее имени. Не справился даже, вернулась ли в Петербург или поехала дальше? Может быть, она ехала тоже в Р** и находится теперь здесь? Может быть...

Я вдруг подскочил, наткнувшись нечаянно на весьма интересную гипотезу... А что если это Фогель? Та самая Фогель, что была здесь, у Ольги, как раз перед моим приездом, и прожила два дня невидимкой на постоялом дворе?.. Кузина Бодягина – из Орла – была в Петербурге и заезжала в Р** на обратном пути. Приняла большое участие в Ольге и утешала ее, но в дом не явилась и взяла слово не разглашать о своем посещении... Какой, однако же, странный случай, если это она! Почему из тысячи ехавших вместе я должен был очутиться наедине именно с нею?.. Причина, конечно, была. Она от кого-то пряталась, а мне было тесно во 2-м классе и захотелось спать... Стало быть, не совсем случайно... Но для чего ей было прятаться, если она отправлялась домой? Тут, в Р**, еще положим, так как ей это не по пути, но там, на московской дороге, за 500 верст от Р**? Я начал припоминать и вспомнил, как она опустила вуаль, когда я вошел, и потом еще раз, когда она выходила дорогой на станции. Оброненный платок тоже пришел мне на память и на платке вензель «Ю. Ш.» кажется? Да, «Ю. Ш.» Значит, не Фогель... Странно! С чего такой вздор придет в голову? Дремота, соображения путаются, усталая мысль теряет нить связи... Я повернулся к стене и уснул.

¹ Подонки – осадок от какой-либо жидкости.

V

После обеда, в сумерки, мы говорили с Ольгой о чем-то, помнится, о родне Бодягина, и она, заспорив, сослалась на Фогель.

– А что, Фогель курит? – спросил я, как-то совсем некстати.

– Да, курит.

– Сигары?

– Да... а ты почему знаешь?

– Я ничего не знаю, я так спросил.

Она была очень удивлена, да, признаюсь, и я тоже. Ничтожная вероятность ночной догадки вдруг выросла и получила довольно серьезный вес.

– С чего ты это спросил? – приставала Ольга. – Ты, верно, знаешь ее?

– Нет, – отвечал я, – не знаю. Но, может быть, мы встречались, не зная друг друга...

Скажи, пожалуйста, что это за женщина?.. Молодая?

– Да, моих лет.

– Брюнетка?

– Нет.

– Высокого роста?

– Не очень.

– Хороша собой? – Да.

– Худенькая?

– Нет, так себе, ничего... Но это все пустяки, а ты мне скажи, как ты угадал, что она курит сигары?

– Так... Она мне сегодня приснилась во сне.

– Не может быть!

– Право... Мне снилось, будто мы едем с нею к тебе, не зная друг друга, и будто мы в вагоне... Ночь, в отделении нашем горит фонарь, и я будто лежу, дремлю, а она сидит и курит.

– Как странно! Но почему ты узнал, что это она?

– Так, это вздор. Во сне ведь приходит в голову всякая чепуха. Я будто увидел у ней кольцо на руке и по кольцу узнал.

– Какое кольцо?

– Так, маленькое колечко с рубином.

– Ах, Господи! Да у нее как раз такое! Сережа, знаешь, ведь это ужасно странно! Ведь это ты видел ее!

Я сам был почти уверен в этом, но боялся встревожить Ольгу, сказав ей всю правду, прежде чем успею добиться толком, зачем приезжала к ней эта барыня. А между тем ограничиться сказкою, которую я ей сплел, казалось мне тоже неосторожно, потому что иная сказка ложится на душу тяжелее правды. В нерешимости я избрал середину. Умалчивая о самом главном, то есть о подозрениях, которые возбудила во мне ее Фогель, я ей признался однако, что это был вовсе не сон, и что я точно встретил дорогой такую барыню.

– Но это была, наверно, она, – сказала Ольга.

– Может быть, – отвечал я смеясь, – но об заклад не побьюсь. Кольцо с рубином очень обыкновенная вещь; дама, курящая потихоньку сигары, тоже не редкость. А впрочем, она или не она, в обоих случаях нет ничего удивительного. В первом, по крайней мере, уже совсем ничего... Ехали в одно время, оба сюда к тебе, и приехали бы весьма вероятно вместе, если бы дела не задержали меня в Москве. А далее что же?.. Ей совестно было курить в компании, и она за какой-нибудь лишний рубль отыскала себе пустое семейное отделение. Меня кондуктор не знал куда деть с моим билетом 1-го класса, и поместил туда же... Кстати, признаться тебе,

она в ту пору произвела на меня впечатление. В ней было что-то такое оригинальное, странное, почти романтическое. Я думал невесть что, а На поверку вышла, увы, такая проза!.. Орловская родственница, стремящаяся к кухне посплетничать!..

– С чего ты взял? – перебила Ольга смеясь, но, кажется, втайне немного обиженная. – Разве я тебе говорила что-нибудь, из чего ты имел бы право вывести, что мы тут сплетничали?

– Нет, но трудно себе представить другую цель. Посредницей между тобою и Павлом Ивановичем она не могла быть потому, что старалась скрыть от него это свидание. Особенное участие к тебе тоже едва ли могло ее побудить, потому что она лично не знала тебя... Что ж остается?.. Я, право, не понимаю.

– Разве нельзя принимать участие за глаза? – спросила Ольга. – Она обо мне много слышала.

– От кого?

– Да хотя бы от Павла Ивановича!

– Хм.

Ольга нахохлилась.

– Не знаю, что ты хочешь сказать... – начала она и, не кончив, остановилась сконфуженная.

– Я ничего не хочу сказать, и ты на меня не сердись, а лучше уж, если хочешь быть совершенно искренна, то расскажи-ка просто, что у вас тут с нею было?

Она потупилась.

– Вижу, что ты не доверяешь мне.

– Ах, нет!.. Ты не думай этого...

– Однако, что-нибудь было, чего ты не хочешь сказать... Бьюсь об заклад, например, что у вас была речь о разводе... Была, конечно, я вижу уже по глазам.

– Ну да, была, сначала... Бедная Марья Евстафьевна сама в разводе, и потому с ее стороны естественно было упомянуть об этом.

– Что же, она советовала тебе решиться на это?

– Нет... впрочем, да, сначала, пока она не узнала, как я на это смотрю. Ей это казалось практичнее, с ее точки зрения, – она очень практичная... Но потом она согласилась со мной.

– Как же это у вас с нею было?.. Где?.. Расскажи уж, пожалуйста, все.

– Да так... Тут есть, недалеко от станции, постоялый дом... Я не знала прежде. Только вот раз как-то стою у окна и жду тебя. Смотрю, вдруг мальчик как из земли вырос – стоит совсем возле и смотрит прямо в окно на меня. С чего я испугалась, понять не могу, только меня вдруг всю так и бросило в холод. Когда это прошло, я спросила: чего ему?.. Гляжу, он протягивает записку. Записка была адресована мне, но состояла вся из трех строк: «Сейчас приехала, нездорова. Не беспокойте мамашу, придите запросто, посланный вас проведет к вашей кухне, Мария Фогель». В записке была ее визитная карточка. Имя немного смутило меня; я не могла припомнить: у Павла Ивановича такая куча родни. Потом оказалось, что это одна из Толбухиных. Я, разумеется, тотчас пошла, и мы свиделись у нее, в постоялом доме. Она мне сразу понравилась, такая милая! Но в этот день я оставалась у нее недолго из страха, чтобы маман не хватилась. Зато на другой поутру, сказав маман, что еду в Солотчинский, я вместо того просидела у Фогель до вечера... В тот же день, ночью, она уехала.

– О чем же у вас была речь?

– Да больше все обо мне и о моем положении. Впрочем, она говорила и о себе. Жизнь ее с мужем была ужасная. Муж приводил открыто любовниц к ней в дом. Конечно, она не вытерпела и решилась на все. На ее месте я то же бы сделала... Она ужасно дурного мнения о мужчинах.

– А ты?

– Ну, да ты знаешь, и я тоже. Мы спорили с ней о Павле Ивановиче. Она обвиняла его кругом.

– А ты?

– Я, разумеется, не могла оправдать его совершенно.

– Однако, оправдывала?

– Да, так, немножко.

– Что же, она согласилась с тобой?

– Не совсем. Но она допускает, что у него недурное сердце. Он ей, например, признавался, что ему жалко меня и что он за меня боится. «У нее, – говорит, – бешовый характер, и я боюсь, чтобы она с этим характером не додумалась там одна до какого-нибудь отчаянного дурачества».

– Какого же это дурачества?

– Не знаю. Фогель мне глухо об этом упомянула, и я тебе передаю не подлинные ее слова, а так только, около... Она вообще больше расспрашивала... Я читала ей письма мужа, и мы разбирали их вместе, чтобы решить, есть ли надежда.

– Что же, она находит, что есть?

– Да, впрочем, она не утверждала этого прямо, но я догадываюсь. Ты понимаешь, мы только что познакомились и не могли говорить совершенно открыто. Она, как кажется, не хотела сказать мне всего из страха, чтоб я не проболталась в письмах. Я тоже не могла ей признаться прямо в иных вещах, потому что мне совестно было.

– Однако, договорились же до чего-нибудь существенного?

– Нет, не совсем. Но она обещала приехать еще раз.

– А! Вот как!.. Ну, признайся же мне откровенно, Оля, что она тебе советовала?

– Она?... Ничего особенного.

– Однако?

– Так, ничего. Она только спрашивала: буду ли я еще писать Павлу Ивановичу и как скоро?... Я говорю: «Не знаю». Тогда она заметила, что с мужчинами нельзя так, прямо, начистоту, а надобно их изучить, чтобы узнать, чего им особенно хочется или чего они больше всего боятся.

– То есть затронуть их чувствительную струну?

– Да.

– И терзать их за эту струну?

Она засмеялась.

– Ну да, как же с вами иначе-то?

– Какую же струну она открыла у Павла Ивановича?

– Не знаю...

Она не говорила об этом прямо. Но, кажется, она думает, что не мешало бы его попутать.

– Чем?

– Я не знаю... Мы... не говорили об этом.

Она уперлась, и я никак не мог он нее добиться, что она затевает. В сумме, однако, все оказалось вздором: обыкновенная болтовня между женщинами о том, что у них лежит на сердце. Особенного участия даже не требуется, все можно себе объяснить любопытством и страстью мешаться в чужие дела. Вопрос, стало быть, только в одном: к чему все эти предосторожности, которые простирались очень далеко, если это была не на шутку моя попутчица?..

Тем временем, срок моего пребывания в Р** оканчивался, и мне было грустно видеть, с какой тоской вспоминала об этом Ольга.

Накануне отъезда, сидя со мной в сумерках после обеда, она сказала слова, которые меня глубоко тронули.

– Жаль, друг мой, – сказала она, прижимаясь лицом к моему плечу, – что мне не судьба была стать твоею! Как хорошо, как спокойно устроилась бы вся жизнь!

– Да, Оля, – отвечал я, – я сам горько об этом жалел, но судьба – слишком темный мотив, чтоб им объяснять причины, нас разлучившие. Они были гораздо яснее, и ты их знаешь.

– Что знаю? Вздор-то твой?.. Будто бы я тебя не любила?

– Нет, Оля, это не вздор, и если ты прежде не понимала этого, то теперь должна бы понять. Есть бесконечная разница между тем чувством, которое ты имела ко мне, и другим, которое ты узнала после.

– Ах, да, – отвечала она, вздохнув, – конечно, но только разница эта вся в пользу первого. Верь мне, мой друг, то тихое чувство, которое влекло мое сердце к тебе, заключало в себе гораздо больше задатков счастья. Прежде я только угадывала это, словно чутьем, теперь убедилась собственным горьким опытом. На что нам огонь, который палит и ослепляет? Нам нужен свет и тихая, ровная теплота. А мне возле тебя всегда было так тепло! Так тепло!

Она заплакала, обнимая меня тихонько рукою за шею.

Я был в таком возбужденном, экзальтированном состоянии, что чуть не наделал дурачеств; чуть не сказал ей: «Оля! Чего же тебе еще! Чего ты, ослепленная, тянешься так безумно на этот огонь, который тебя опалил? Пойми же, что он не даст тебе счастья. Пойми и отвернись от него раз и навсегда и останься тут, возле меня, где тебе так тепло...» Другими словами, я чуть не предложил ей немедленно развестись с Павлом Ивановичем, чтоб выйти потом за меня. Но я был проучен насчет этого рода миражей; благоразумие одержало верх над подогретым чувством, и дело окончилось тихим, дружеским поцелуем.

Перед отъездом я счел однако нелишним серьезно ее остеречь насчет этой загадочной родственницы и рассказал ей о вензеле носового платка и еще кое-что из моего дорожного приключения...

– Нельзя так доверять всякой встречной, – говорил я. – Почему ты знаешь, что у нее на уме и, наконец, кто она?.. Может быть, вовсе не Фогель и не кузина Павла Ивановича.

– А кто же?

– Почему я знаю... Впрочем, я наведу непременно справки и напишу тебе.

– Пожалуйста, только не проговорись.

– Будь спокойна.

В три часа ночи я уехал из Р**. Дорогой вопрос о Фогель вертелся у меня на уме, и я не раз пожалел, что в ту пору, в Москве, не дал себе труда узнать имя моей интересной попутчицы. Чтобы нагнать упущенное, я решил было заехать на Дмитровку, рассчитывая, что с 10 до 2-х у меня хватит времени. Но поезд задержан был в К** так долго, что я едва успел на Николаевскую дорогу.

VI

Немедленно по возвращении в Петербург я посетил тетюшку Софью Антоновну, у которой Ольга жила до замужества и после. Отдал ей письма из Р** и просидел у нее весь вечер. Нового я ей не мог сообщить почти ничего, кроме личных моих впечатлений. Даже попытки Павла Ивановича насчет развода, о которых она до сих пор молчала, оказались известны тетюшке, должно быть, через сестру, хотя Ольга не подала и виду, что говорила об этом кому-нибудь, кроме меня... «Странное свойство женских секретов! – подумал я. Все знают их порознь, но всякий должен воображать, что никому, кроме него, ничего не открыто!..»

Говоря о Бодягине, который вернулся вскоре после моего отъезда, тетюшка сообщила мне по секрету, что он получил на днях большие деньги за какую-то концессию...

– Ездил по этому делу в Орел, – шепнула она, и вслед затем прибавила громко, – ведь вот, везет же таким разбойникам.

– У него есть в Орловской родня? – спросил я кстати.

– Да, есть.

– Есть баронесса Фогель – кузина?

– Фогель?.. Да, кажется... Фогель?.. Постой-ка... Это Толбухиной, Ирины Матвеевны дочь-то, замужняя?

– Да, – отвечал я, смутно припоминая слышанное от Ольги. – Только чуть ли она не в разводе?

– В разводе?.. Ну, нет, едва ли... Я что-то не слышала... Разве недавно?

– Есть, стало быть?

– Да, есть, а что?

– Так, ничего, я вспомнил... Мне говорили о ней в Москве.

– Есть, – повторила Софья Антоновна еще раз.

Одно из главных моих подозрений рухнуло, поколебав, естественно, все остальные, и я на другой же день сообщил Ольге известие, что ее Фогель не вымысел, прибавив, однако, совет не верить всему без разбора, что она о себе рассказывает, ибо иные вещи по справкам оказываются сомнительны. Так, например, о разводе ее здесь до сих пор ничего не знают.

В этот же день был у Бодягина, но не застал его дома. Мы свиделись дня через два, и он затащил меня обедать к Борелю.

– А! Черезов! Здравствуй, любезный друг! Давно ли? Откуда? Как поживаешь? – расспрашивал он. – Я слышал от В**, что ты воротился, да только тебя не видно было все это время... Постой-ка! Постой! Дай на тебя поглядеть... Фу, черт, как ты постарел!.. Что ты не женишься?.. Если имеешь в виду, то пора, а впрочем, оно, пожалуй, чем позже, тем лучше. Вот меня, братец, нелегкая угораздила, поторопился, да не знаю теперь, как и отделаться... Черт знает, что это такое!.. Ты слышал, конечно, с твоей кузиной?..

– Как же?

– Ах, да, я и забыл. Вы с нею ведь в переписке, и уж, конечно, она нажаловалась. Признайся, чай расписала так, что просто и на глаза не показывайся? Она ведь мастерица расписывать, и слог у нее такой высокий.

Он, очевидно, не знал о моей поездке в Р**, и я тут же решил не говорить ему об этом без надобности... Я отвечал, что он ошибается, что Ольга писала о нем очень мало и далеко не враждебно.

– Врешь, брат! Не может быть!.. А впрочем, с вас станется! Вы ведь романтики, и у вас это все житейское прикрыто величественным молчанием или заставлено декорациями. Старая

пассия, как водится между двоюродными, платония, родство душ – канитель возвышенных мыслей и идеальных чувств... Сопни!²

Все это у него было, не скажу искренно, но естественно. В сердце глубоко скрытный, расчетливый и сухой человек, он сам, однако, не признавал за собой этих качеств, считал себя добрым малым, способным на всякие увлечения, любил побалагурить с приятелями и был бы весьма удивлен, если бы кто-нибудь усомнился в его простодушии.

– А ты никогда не писал чувствительных писем? – спросил я.

– Писал, братец, как не писать!.. Я даже стихи сочинял. Но на меня это находит с ветру, как флюс или насморк, я не придаю этим вещам особенного значения.

– Но ты был влюблен в Ольгу?

– В Ольгу?.. Еще бы! Влюблен до зарезу, иначе я бы, конечно, не сделал такого дурачества. Между нами, mon cher³, женитьба жестоко меня подрезала. В ту пору особенно, финансовый кризис и прочее, а тут еще эта обуза!.. Но я понимаю, тебя это мало интересует; хочешь узнать, как у нас было с нею... Скверно!.. Ошибся я, братец, в ней. При всей своей опытности, ошибся. Как это случилось, я даже и объяснить себе не могу. Помнишь, каким смотрела козырем? А потом!.. Но это у них часто бывает. Крепитя, покуда в девках, изо всей мочи, чтобы как-нибудь дотянуть, а раз дотянула – кончено! Выдохлась вся, распустилась, просто хоть брось!.. Я, впрочем, ее уважаю; она человек хороший, да только существенного в ней нет. Ты не можешь себе представить, что это такое было! Пяти недель не прошло, как стала расклеиваться идохнуть. То то, то другое у ней неладно; страшно было дотронуться, не знаешь, с какой стороны приступить – ну, и щадишь. А она объясняет это холодностью. Эх, черт возьми! Да если бы я себе волю дал, так что от нее осталось бы?.. Тряпки!.. Ты извини, пожалуйста, я запросто.

Действительно, это было запросто, так запросто, что я не решаюсь и повторять его подлинными словами. Я слушал, кусая губы, с глубокой болью в душе, но странно сказать – я не мог на него сердиться, как не мог бы сердиться на лошадь, которая сбила меня с ног и протащила в грязи. Мало того, несмотря на всю боль, я любовался невольно дикою красотой и силою этого необузданного животного. Человеческое, если оно и было в нем, то не бросалось в глаза, а то, что бросалось, было именно что-то конское. Он был похож на кровного жеребца: легкий, красивый склад тела, могучая шея, гордый подъем головы, сумрачный огненный взор и густая, волнистая грива.

– Однако у вас с нею не было крупных ссор? – спросил я.

– Скандалу-то? Нет, этого не было. Мы грызлись самым приличным и деликатным образом. Она пилила меня тихонько, ласково, с маленькой ядовитой улыбочкой на губах и с видом безгрешной мученицы. Я злился елико возможно и говорил ей милые откровенности. Знаешь, надо иметь характер, чтобы выносить это так, как я выносил, с моим темпераментом. Подчас у меня вот тут (он указал рукой на печень) кипело так, что, честью тебе клянусь, будь это не она, я, кажется, задушил бы ее своими руками.

– С чего же так?

– С чего?.. Э, брат! Ты не был женат и не можешь представить себе, что это такое, когда уйти некуда, когда с утра до вечера, а иногда с ночи до света, тебе не дают покоя, душу сосут из тебя, жилы вытягивают, и все это с таким видом, как будто бы ты палач и мучитель, а она – жертва невинная, бесконечно нежна и снисходительна! Это, братец, такая вещь, что так вот и кажется все бы бросил, удрал бы к черту, в Африку, там куда-нибудь, в Хартум или в какую-нибудь американскую территорию к краснокожим, чтобы только освободиться.

² Само собой (фр.)

³ Мой дорогой (фр.)

– Это меня удивляет, – сказал я, действительно несколько удивленный. – Я всегда считал Ольгу кроткою.

– Да, она кротка, слишком даже. Только я вот что скажу: не дай Бог испытать на себе этого рода кротость. Не знаю, как тебе объяснить это, потому что ты не был женат... Ну, ты представь себе, что кто-нибудь уцепится за тебя и повиснет тебе на шее самым нежнейшим образом, но так, что ты ни на минуту не можешь отделаться, чтобы вздохнуть свободно, или начнет теревить тебя за рукав, напоминая о чем-нибудь неприятном, и это весь день напролет, без отдыха... Нет, черт их возьми этих чувствительных недотык!.. Я предпочел бы уж лучше бабу, которая запросто вцепится тебе в волосы, если ты ее выведешь из терпения, или швырнет тебе в рожу тарелку, и которую ты, в свою очередь, можешь стегнуть хлыстом, если она дурит. «Свинство!» – ты скажешь? Ну я, пожалуй, не спору – «свинство». Но если уж человек озлился, то лучше сразу сорвать свою злость, чем угощать тебя через пять минут по ложке сладенькою микстуркою, от которой мутит... Однако, баста! Довольно об этом, а то испортишь себе хороший обед.

Обед действительно был хорош, и об Ольге больше помину не было... Мы пили много... Бодягин был весел, более даже чем весел. Недавний успех, о котором мне сообщила тетюшка Софья Антоновна, заметно его опьянял, и он мне рассказывал о своих делах с таким увлечением, что мне, наконец, стало гадко. В принципе, я ненавидел эту породу хищников и мироедов, у которых труд в полном презрении и все помыслы, все надежды которых устремлены на даровую добычу, а между тем, признаюсь, успех его, как успех, возбуждал во мне невольную зависть.

«Вот, – думал я, – человек не жал и не сеял, а умел только протискиваться между людьми и уже захватил себе львиную долю... А ты!..»

И длинный ряд неудачных попыток приладиться к жизни прошел в моей памяти траурною процессиею. Наука, служба, дело с М...вым, на которое все мы смолodu возлагали большие надежды и которое, как марево, сулило нам впереди что-то недостижимое... Потом усиленная работа мысли, порывы, искания, промахи и ошибки, много ошибок! Но в основании подо всеми одно: это заглядка вдаль и неспособность видеть или понять то, что творится вблизи, под носом и под ногами. Лет десять носился я, как дурак на рынке, с своей идеальной меркой и с задачами общественных целей, не замечая, что этот товар никому не нужен и что все от него сторонятся, как от проказы. Мало того, я был так глуп, что даже не мог разобраться, чего собственно этим людям нужно? И только услышав не раз повторенный хохот со всех сторон в ответ на мои расспросы, успел, наконец, измерить всю глубину своего заблуждения. Тогда мне стало стыдно за свою простоту, и я понизил тон. Но уже было поздно: я был давно записан в число недотык и меня сторонились, меня обходили, чуя во мне инстинктивно что-то чужое, враждебное. Партия моя была невозвратно проиграна, оставалось только ее окончательно сдать, что я и сделал... Нужда подвела итоги. И вот в 35 лет, бросив великодушные замыслы и высокие цели, я служу на одном из приморских рынков агентом торговой компании, с мизерным жалованьем, а этот ерник сцапал шутя за свою концессию полмиллиона, женился шутя на Ольге и сыт уже ею до отвращения, ругается тут над нею и триумфирует надо мной, угощая меня шампанским. И что всего обиднее, он, со своей точки зрения, совершенно прав. Потому: что я такое в его глазах!.. Труженик, выучный осел, на спине которого люди, ему подобные, ездят без всяких хлопот; глупец, десять лет гонявшийся за химерами и не успевший извлечь ничего из жизни!

Я ушел от Бореля озлобленный, а он, насвистывая из «Прекрасной Елены», уехал к Стекольщикovu играть в ландскнехт⁴.

Дня через два дела мои в Петербурге были окончены, и я простился с родиною еще раз, надолго, как я полагал.

⁴ Ландскнехт (*устар.*) – азартная карточная игра.

VII

Прошло полтора месяца. Я был давно уж на месте в М**, но за все время имел только одно письмо от Ольги. Оно было грустное и наполнено из конца в конец воспоминаниями о прошлом. С тех пор целый месяц ни от кого ни строчки. Напрасно ходил я на почту почти каждый день. Все тот же ответ: «Rien pour vous, monsieur! Absolument rien!..»⁵ Наконец, это было уже 4 декабря, знакомый француз в окошке, увидев меня еще издали, протянул мне в очередь, через других, довольно толстый конверт. Он был за черной печатью. Это меня встревожило, и я думал сперва, что тетушка. Но адрес написан был ее хорошо знакомой рукой. О ком же это?.. Чей час пробил?.. Неужели?.. Сердце заныло от мучительного предчувствия, и я с минуту держал распечатанное письмо, не смея в него заглянуть. Руки мои дрожали, когда я его развертывал... Увы! Имя Ольги стояло на первых строках!

«Мой милый друг Сережа! – писала тетушка Софья Антоновна. – Я должна сообщить тебе горестное известие. Бесценная наша Ольга скончалась на предпрошедшей неделе, в среду, мгновенно и неожиданно для всех окружающих. Знаю, как сильно тебя огорчит это несчастье, и молю Бога, друг мой, чтоб он тебя подкрепил и утешил. Я только что воротилась из Р**, где оставила сестру Анну полуживую и совсем обезумевшую от горя. Хотела ее увезти с собою, но невозможно: она так слаба, что не выдержала бы дороги. Ты не можешь себе представить, что это такое было. Весь город у них там в ужасе, потому что Оля была совсем здорова и ее видели на ногах всего за какой-нибудь час до смерти. Но об этом после, мне надо собраться с мыслями, чтобы рассказать тебе все по порядку, милый мой; я так была перепугана, что сама едва осталась в живых и до сих пор не могу опомниться, а потому прости, что пишу тебе так нескладно и так неразборчиво: с трудом вижу бумагу от слез. Как это случилось, мы ничего не знали сначала, и я до сих пор не всем открыла то, что узнала в Р**... Страшно, Сережа! Страшно подумать, какие есть злые люди на свете! И кому нужна была смерть нашей бедной Оли? Кому она сделала зло в своей жизни – она, этот ангел небесный?..»

Тут несколько слов расплылись, но я и без этого не мог читать. Невыразимый ужас охватил меня, ужас и жалость. Это было на улице, на террасе большого кафе, и вокруг было шумно, сидело много народа. Я убежал к себе и там, один, в полусвете вечерних сумерек, раскрыл еще раз письмо Софьи Антоновны. Оно было длинное.

«В пятницу вечером, – продолжала тетушка, – Степан Егорович (ее зять) получил депешу из Р**, с просьбой сообщить мне поосторожнее, что Ольга скончалась. С первого слова я поняла, что случилось какое-то большое несчастье; но я никак не воображала, что это с Олею: я думала, что сестра... В депеше не было никаких подробностей кроме того, что Аннетта в отчаянии. Я тотчас уехала к ней. К тому времени, когда я проезжала через Москву, об этом было уже в газетах, но я еще ничего не знала. В вокзале, в Р**, меня ожидала Микулова с мужем. Они объяснили мне, что Аннетта у них, и увезли к себе. От них я узнала главное, но потом еще слышала много чего, и чтоб не путать, расскажу тебе уже все за раз. В среду, на предпрошедшей неделе, в 8-м часу вечера, к Ольге пришел какой-то мальчик, как после узнали, из постоянного дома (сестра Аннетта в ту пору была у Микуловых). Что там

⁵ Для вас ничего, сударь. Абсолютно ничего! (фр.)

такое он ей сказал, неизвестно, но Оля ушла с ним и через час воротилась одна. Когда воротилась Оля, матери еще дома не было и Оля ей не велела сказывать. В 10 часов воротилась Аннетта, разделась и легла, а через час все уже спали. Думали, что и Оля спит, но Оля, как после узнали, и не ложилась. В первом часу она разбудила горничную и велела поставить себе самовар, а когда та удивилась, видя ее еще одетую, сказала, что у нее гостья, знакомая одна, из Москвы, приехала на минуту, и уезжает завтра чуть свет. «Не буди, – говорит, – никого, Параша, поставь самовар тихонько на кухне и принеси ко мне в комнату». Та дивится. Господи! Да когда же это она вошла? «Сейчас вошла, – отвечает Оля, – я ей сама отворила и выпущу; ты только подай мне сюда все, что нужно, да и ложись...» Та сделала, как приказано: подала из столовой посуду, чай, сахар и, подавая, действительно видела в комнате с Олей какую-то молодую даму, но лица не могла разглядеть, потому что она сидела спиной к дверям... Слышала из сеней, как Оля с гостьей смеялись и разговаривали. Потом подала самовар и ушла. «Сама, – говорит, – не знала, что делать: лечь ли спать, как барыня приказала, или повременить, чтоб выпустить гостью и потом пособить Ольге Федоровне?» Но Ольга выбежала ей вслед и приказала еще раз не дожидаться. «Не нужно, – говорит, – я сама все сделаю». Тогда Параша ушла к себе в девичью, разделась и легла, но не могла уснуть. «Напал, – говорит, – на меня с чего-то страх; лежу и думаю: что за гостья такая, что по ночам шляется? И зачем барыня принимают тайком от маменьки? Уж не хотят ли уехать с ней вместе? И что это будет, как хватятся поутру, а барыни-то уж нет, и с нее спросят: чего смотрела?.. Лежу, – говорит, – слышу: кто-то прошел через сени в столовую и воротился назад: Должно быть, барыне что-нибудь понадобилось для гостьи. После того прошло этак недолго, слышу: дверь скрипнула и кто-то опять прошел через сени, в прихожую, так скоро, скоро... Ну, думаю, верно ушла; и опять страшно стало; лежу, прислушиваюсь, сама вся дрожу. Наконец не вытерпела, как есть, в сорочке, босая, встала тихонько и вышла. Вижу: в сенях темно. Подкралась на цыпочках к комнате Ольги Федоровны, послушала – тихо; глянула в замочную скважину – ни зги не видать. А сердце-то словно чуяло, так и стучит! Не могла, – говорит, – я дольше стерпеть. «Барыня! – говорю, – а барыня!.. Спите?», а сама хватить за ручку, чтобы войти, но дверь была заперта на замок, чего никогда до сих пор не случалось ночью... Стала стучать: ни гу-гу! Испугалась, – говорит, – уж я тогда не на шутку, побежала и разбудила Аришу». Вместе они зажгли свечу, выбежали в прихожую, смотрят: наружная дверь не замкнута, а только притворена, и свечка из комнаты Оли стоит на столе потушенная. Обе решили, что барыня их ушла: но куда? Третий час ночи в исходе. Куда могла уйти Ольга в такую пору? Ни одной и на ум не пришло, что машина отходит от них в Москву как раз в три часа. Побежали будить других; послали старуху Марфу к сестре; сестра перепугалась до смерти, но не хотела верить. Прибежала она сама к затворенной двери, стучит, зовет: «Оля! Мой ангел! Оля! Ты спишь?..» Никакого ответа... А между тем в сенях собрался весь дом, кликнули дворника; Аннетте сделалось дурно, и ее вынесли... Ах, друг мой! Лучше бы она умерла тут на месте, чем пережить весь этот ужас!.. Пока ходили за слесарем и в полицию, прошло много времени. В 6 часов наконец отворили дверь и нашли Олю мертвую на полу между столом и диваном... Матери, к счастью, при этом не было; ей после сказали. В комнате стол был накрыт, и на столе нашли самовар, сливки, чай, сахар и чашки с чаем. Из

чашек одна недопита, другая совсем не тронута... На первых порах понять не могли, что случилось, и думали, что удар, но теперь уже нет сомнения, что Оля была отравлена. В трупе ее и в недопитой чашке найден был яд; Алексей Демьянович, их доктор, сказывал мне, какой, но я не помню; знаю только, что это ужасный яд, от которого умирают в минуту, и что он был подсыпан Оле в чашку, как полагают, в ту пору, когда она уходила из комнаты за лимоном, который тоже нашли на столе, но который, Параша клянется, что не подавала. Ключ от дверей нашли в комнате на полу, и это сбило всех с толку, но потом догадались, что он был подсунут снаружи, в щель между дверью и полом и, должно быть, сперва лежал близко, но потом отодвинут вошедшими. В Р** все уверены, что Олю отравила эта приезжая, и полиция ее ищет везде, но до сих пор не нашла. Узнали только, что она останавливалась в том доме, откуда мальчик был послан к Ольге, и есть догадки, что это уже не в первый раз, хотя хозяйка не признается; но далее никаких следов, а главное, имени до сих пор не могут узнать, потому что Оля с ней виделась тайком, а в постоялом доме не спрашивали... Судя по всему, это было вот как. Та приехала в постоянный дом с машины, в среду в 7 часов, без поклажи, с одним небольшим ручным мешочком, тотчас послала за Олей мальчика и виделась с нею тайком от матери в постоялом доме, и, вероятно тогда уже, уговорилась навестить Олю ночью, когда все в доме уснут; и Оля ее ждала, не раздеваясь, и они пили чай, и убийца ушла от Оли, как полагают, в 2 часа ночи, пешком, со своим ручным мешочком, прямо на машину, и, конечно, уехала в 3 часа, когда почтовый поезд отходит в Москву.

Вот и все насчет этой ужасной женщины. Остальное известно Господу Богу, который один был свидетелем ее злодеяния, один знает истинные причины его и один может открыть их, так же, как и участников, если, как надо думать, участники были. Боюсь даже и намекнуть, мой друг, кого касаются мои подозрения, и лучше желаю думать, что я ошибаюсь кругом и что это лицо совершенно невинно, а между тем как-то невольно думается, потому что кому нужна была ее смерть, помимо его?..

Павла Ивановича здесь, в Петербурге, два раза призывали к допросу, но я не знаю, чем это кончилось, знаю только, что он не арестован. Зато другие, в Р**, арестованы. Бедняжку Парашу, еле живую от ужаса и в слезах, взяли тогда же, и она до сих пор сидит. Взяли еще и других, но многих уже выпустили, и о Параше Микуловы пишут, что против нее нет никаких серьезных улик, кроме того, что весь рассказ о приезжей, т. е. насчет того, что она была у Оли ночью, основан единственно на ее словах, и она одна была на ногах при этом и ставила самовар. Но какие причины могла иметь Параша, которая так любила свою госпожу?.. И зачем бы она подняла весь дом и сама против себя стала показывать, тогда как ей было легко все скрыть, что она, конечно, и сделала бы, если б была виновата... И опять, она не могла сочинить всего, потому что приезжую видели в постоялом доме и узнали, что она посылала оттуда мальчика к Оле и что Оля у нее была тайком от домашних... Господи Боже мой! Кто бы это мог быть? Думаю иногда по целым часам, и все мне мерещится этот ужас, как они пили чай, смеялись и говорили между собой как друзья, и что потом было... Как смерть пришла, как свечи были потушены, комната заперта на ключ, и как убийца бежала... Я была совершенно больна от этих ужасов и, воротясь сюда, пролежала шесть дней в постели. Нужно ли тебе говорить после этого, что делается с сестрой?..»

За этим следовала еще страница, которую я уж не в силах был разобрать, несмотря на зажженные свечи. Буквы пестрели и разбегались, в глазах мелькали радужные круги. Что-то тяжелое и ужасное давило мне грудь. Я силился овладеть собой, стараясь уверить себя, что это не может быть, что это сон и, судя по тому, как мысли путались у меня в голове, это было похоже только не на здоровый сон, а на какой-то тифозный бред, в котором фантазия мчится как перепуганный конь, без цели и без узды.

Долго ли это длилось, не помню, помню только, что мне вдруг стало невыносимо душно, и я, подбежав к окну, отворил его настежь... На дворе было уже темно. В гавани, между чернеющим лесом мачт, мелькали уединенные огоньки. Внизу, на набережной, поулеглось, и в промежутках покоя, когда смолкали песни матросов в шинке и умирал шум шагов, ночной ветерок доносил до меня далекий гул моря, светлой полосой синеющего вдали.

Все это мало-помалу меня отрезвило, и я начал понимать прочитанное... Первая мысль, в которой я дал себе некоторый отчет, была уверенность, что я, и один только я, знаю убийцу Ольги. Мало того, я был почти уверен, что знаю ее соумышленника. Бодягин недаром ездил в Орел. Он видел там эту Фогель, и дело это, конечно, условлено было между ними. Недаром он так настаивал на разводе.

Я плакал от жалости и от злости; я метался по комнате вне себя, убитый, растерянный, и вдруг заметил, что в промежутках этих бесцельных порывов я что-то делаю. Оказалось, что я машинально вытащил чемодан и сую в него вещи. Только тогда я припомнил, что еще за письмом я решил непременно ехать и что эта решимость водила меня безотчетно туда и сюда. Несколько ящиков было открыто, кое-какое белье и платье, поспешно вынутые, валялись по стульям и на полу... Взгляд на часы, однако, заставил меня одуматься. Спешить было некуда, потому что я опоздал на курьерский поезд, да, сверх того, я именно в эту минуту прикован был безотлучно к месту. Единственный человек, которому я бы мог с грехом пополам передать дела, был в это время далеко и мог воротиться не раньше как через три дня. Но ждать... Ждать тут сложа руки, когда там ищут, теряя напрасно время!.. Что делать?.. В письме день смерти был обозначен неясно... «в среду, на передпрошедшей неделе...» Я стал считать и насчитал более трех недель. Какую важность это могло иметь, я не знал, но чувство горячего, безотчетного спеха жгло меня вместе с невыразимой ненавистью и злобою... «Скорей!.. Скорей! – шептал мне внутренний голос. – Сию минуту телеграфировать! А завтра, чуть свет, с первым поездом, я отправлю письма».

Депеша была готова в пять минут, и я бегом кинулся с нею на станцию. Она была на имя Z**, которому передан был в ту пору наш бесконечный процесс.

«По делу Ольги Бодягиной, отравленной в P**, – телеграфировал я. – Лицо, которое ищут, приезжало уже однажды в P** в начале этого сентября и виделось с Ольгой тайно. Имя ее – баронесса Марья Евстафьевна Фогель, кузина мужа, орловская. Я знаю это из первых рук. Сообщите немедленно кому следует. Подробности будут в письме. Ответ оплачен».

Воротясь домой, я немедленно сел писать и просидел всю ночь. Рано поутру два письма – одно к тетушке Софье Антоновне, другое на имя Z** – были готовы и снесены на почту. В первом я умолчал о своих подозрениях, частью не желая тревожить тетушку без нужды, но, признаюсь, больше из страха, чтобы она не проболталась. Зато во втором я высказал Z** без утайки все, что мне было известно.

«Судите сами, – писал я, – и сделайте за меня все, что нужно. Издержки оплачены будут немедленно вслед за известием об итоге...» В конце я просил его сообщить мне подробно о ходе дела.

Два дня прошло в лихорадочном ожидании. На третий я получил короткий ответ от Z**: «Передал вашу депешу буквально в P**, но не могу предсказать результата. Дело не выясняется. Все нужное будет сделано. Z**».

Через неделю пришла другая депеша: «Письмо ваше получено, но указания плохо оправдываются. Дознано, что б. М. Е. Ф. в критическую минуту была в своем имении и ни в ту пору, ни в сентябре не трогалась с места. Имя, конечно, украдено. Против мужа нет никаких улик, и вообще ничего не открыто. Z**».

Депеша эта охледила мой пыл, и я решил, что мне незачем ехать... Прошла еще неделя. В конце ее я получил, наконец, и письма, но ни одно из них не разъяснило мне мучительного вопроса. Тетушка фантазировала и горько жаловалась на новый порядок вещей по следственной части. «Случись это прежде, – писала она, – какой-нибудь Шерстобитов давно бы все разыскал. А нынче?.. Кто хочет, может спокойно тебя отравить или зарезать» и прочее. Судя по тону, однако, время подействовало. Ее письмо было спокойнее и содержало в конце страницу о посторонних вещах.

– Бедная Оля, – подумал я. – Как скоро тень твоя исчезает со сцены, и как далеки мы все от безутешного горя, лживую дань которого мы так охотно кладем на могилу друзей!.. Вот, тетушка пишет, что ее Вася выпущен в гвардию. Бьюсь об заклад, что новые эполеты Васи волнуют ее теперь гораздо более, чем эта тайна, о которой она две недели назад писала, что спать не дает... Спит теперь, я полагаю, так же спокойно, как и бывало.

Письмо Z** тоже не содержало важных открытий, но тем не менее оно дало пищу мысли, пополнив мучительный недостаток фактов в моей голове.

«Большая ошибка, – писал он, – сделана была в самом начале розыска. 5–6 часов возились с пустыми предположениями об аневризме⁶, самоубийстве, виновности горничной и т. д., из которых последнее, если б и оправдалось, не требовало бы спеша, так как девчонка эта была в руках; а то, что требовало немедленного распоряжения, пошло в конец очереди, точно так, как будто они решали алгебраическую задачу, в которой искомое не может дать тягу. В полдень только хватились телеграфировать по железной дороге в Москву и, разумеется, опоздали, так как почтовый поезд был там в 10 часов утра. Говорят: все равно, потому что лицо было вполне неизвестно!.. Да если б лицо было известно, тогда и разыскивать, собственно, нечего, оставалось бы только преследовать и ловить. Но я позволяю себе спросить, что это значит – «лицо вполне неизвестно»? Напротив, многое было о нем известно. Во-первых, известен был час отъезда, а стало быть место и время прибытия. Убийца была непременно в 10 часов в Москве, на дебаркадере, в числе пассажиров почтового поезда. Это одно уже не безделица. Но, говорят, как узнать? Не задержать же приезжих гуртом в вокзале? Опять пустяки. Известно было, во-первых, что это женщина; вот уже половина прочь. Потом, эта женщина не простая, а, как говорится, дама, да еще молодая дама, и весьма вероятно, почти наверное, – одна. Но и это еще не все. Знали или должны были знать, что дама эта была без багажа, с одним ручным мешочком (что на большом расстоянии, по крайней мере у нас в России, редкость)... Я спрашиваю, что остается? И не несчастный ли это случай, если из пятисот, положим даже из тысячи человек пассажиров, нашлось бы больше пяти, отвечающих всем этим приметам? Оставьте же лишние церемонии и задержите этих пять лиц хоть на минуту, зная почти несомненно, что между ними одно искомое. Спрашивается: есть ли какая-нибудь возможность, чтоб эта искомая ускользнула, чтобы она не выдала себя чем-то тут же на месте, не оробела, не сбилась в ответах?.. И это только простая логика, доступная всякому; а у привычного сыщика есть свои, незнакомые нам приемы и своего рода нюх, который с такими богатыми

⁶ Аневризм (*мед.*) – ограниченное расширение кровеносного сосуда или расширение полости сердца.

данными привел бы его прямо к цели. Но время упущено, след простыл и розыск с первых шагов сел на мель. Ничего важного у них нет теперь. Держат до сих пор в остроге эту несчастную горничную, насчет которой теперь никто уже не сомневается, и недавно опять посадили (чуть ли не в третий раз) старуху, хозяйку того постоянного дома, где останавливалась убийца. Старуха давно созналась, что то же лицо было у нее уже раз, в сентябре, но от нее требуют имени, низводя таким образом уголовный вопрос до полицейской придирки, основанной сверх того на чисто бумажном порядке, который у нас нигде, кроме столиц, не действует. Известно, как это делается. Кто не бывал проездом в губернском или уездном городе? И кто не знает, что там не только на постоялом дворе, а даже в людной гостинице раньше трех дней не спросят ни вида, ни имени?.. Да и к чему? Что, например, выигралось бы, если бы старуха показала, что дама, у нее квартировавшая, называла себя баронессою Фогель?.. Кстати, об этой Фогель: вы уже знаете главное из депеши, и мне остается прибавить очень немного. Ее, то есть действительную, само собой разумеется, не тревожили. По первым справкам ясно было, что это фальшивый след. Во-первых, она была несомненно дома и в сентябре и после; а, во-вторых, есть множество обстоятельств, по которым она не могла быть главным лицом, а даже и косвенно участницей. Назову только одно из них, потому что оно одно может иметь для вас интерес. Дознано, что она не видала Бодягина во время его поездки в Орел... Затем о Бодягине. Его, разумеется, не оставили без внимания, но кроме писем жены, в которых действительно речь была о разводе и еще об одном предмете (сейчас скажу, о каком), не найдено ничего, что могло бы даже и косвенно подтвердить существовавшее против него довольно слабое подозрение. Мало того, одно письмо (если не ошибаюсь, последнее, полученное от жены) едва не сбilo всех с толку, направив догадки совсем в другую дорогу. В письме этом говорится довольно ясно, что положение пишущей нестерпимо, что жизнь ей в тягость, и что только одна религия удерживала ее до сей поры от самоубийства, но что и эта точка опоры в последнее время у нее пошатнулась... Судите сами, какая находка для следователя, чувствующего, что дело скользит из рук!.. Не будь тут двух, трех неловких фактов, скрепляющих показания горничной, это письмо им развязало бы руки, да может быть еще и развяжет... Но возвращаюсь к Бодягину. Я лично вполне разделяю некоторые из ваших догадок на его счет. Мне кажется крайне невероятно, чтоб он, вообще говоря, был совершенно чист, потому что помимо его или каких-нибудь отношений к нему трудно даже представить себе, чтобы кто-нибудь мог иметь какую-либо причину отправить его жену на тот свет. К тому же они были в ссоре, речь у них шла о разводе, и он на этом настаивал, а она была несогласна. Все нравственные мотивы налицо. Но, господа, нравственные мотивы – вещь очень скользкая, и единственный вес, который мы вправе придать им, есть вес отрицательный. Если их нет, то это естественно заставляет нас усомниться в виновности. Но в обратную сторону нельзя заключать, ибо мы знаем из опыта, что подобного рода мотивы сами в себе недостаточны. Мало ли мужей в ссоре со своими женами и добивающихся развода или по меньшей мере сильно его желающих! Что ж? Разве все они прибегают к убийству?.. Помилуйте! Да этак жизнь в обществе, в гражданском быту была бы немыслима и оставалось бы бросить людей, бежать от них как от тигров или от ядовитых змей!.. Но, допустим, что в иных редких случаях подобного рода мотивы могут вести и

приводят действительно к преступлению. Что ж из того? Для каждого данного случая необходимо все-таки доказать фактически, что подобного рода связь мотива с делом существовала действительно. Факты необходимы не только, чтоб обвинить, а даже чтоб юридически заподозрить лицо, а фактов у нас, к несчастью, нет никаких. Концы, если они и были с его стороны, припрятаны так искусно, что даже тени от них не видать. Конечно, за ним следили и до сих пор следят, но вот уже месяц прошел без всякого результата, а месяц, батюшка, в этого рода вещах – это почти все равно, что вечность. Если в месяц они ничего не пронюхали (а я имею верные сведения, что не пронюхали ничего), то дело это, судя по всему, безнадежно и нужно чудо, чтобы теперь еще открыть что-нибудь. Они это сами знают, и, если не ошибаюсь, махнули рукой. Следят еще так *pro forma*⁷, покуда в публике не затихло, а как затихнет, составят определение – и баста.

Перехожу к вашей дорожной встрече, и прежде всего скажу, что я справлялся на Дмитровке, не официально, но все же весьма аккуратно и через верных людей. В книге нашли действительно ваше имя, но тут же, под вашим, какой-то другой рукой написано, – угадайте-ка что?.. Софья Черезова!!! Просто и остроумно! Я хохотал, когда получил ответ из Москвы... *Si non e vero e ben trovato*⁸, не правда ли? Вот подите, как осторожно следует быть с молодыми попутчицами, которые прячутся в семейных купе, опускают вуаль, и, что всего хуже, курят сигары!.. Мнимая Фогельша тоже курила сигары и тоже пряталась и, вдобавок, имела кольцо с рубином!.. Все это, я согласен, довольно странно и совершенно естественно должно было породить догадки. Но, господа! Что такое догадки, которые нас не ведут ни к чему? Я не намерен спорить о силе их. Положим, что они еще вдесятеро сильнее; положим, что была та самая. Что ж из этого? Она исчезла, и вы не знаете даже имени. Вы видели только мельком, в потемках, вензель на носовом платке – «Ю. Ш.» А может быть и не «Ю. Ш.»? Может быть, вам показалось так?.. Ошибки этого рода нередки. Да, наконец, вы и сами не верите или не верили этому вензелю; доказательство – имя, которое вы мне сообщили. Конечно, оно было фальшиво, но вы не считали его фальшивым, и совершенно логично, потому что нельзя заключить ничего решительного по вензелю на платке. Платок может быть чужой, вензель случайный. Пойду еще далее. Предположу, что вы в настоящий момент в России встретили эту личность где-нибудь и убедились, что это та самая. Как вы докажете, что это та, то есть, что это ваша попутчица, и затем еще раз, что она и искомая личность тождественны?.. Вы могли ошибиться. Вы не видели ее в Р**, вы знаете только от вашей кухни две-три приметы, очень поверхностные...

Эти и некоторые другие соображения заставили меня ограничиться подстрочною передачей вашей депеши и умолчать совершенно о том, что вы сообщили в письме».

Письмо это я перечитывал несколько раз, и на первых порах оно произвело на меня благотворное влияние. Оно дало пищу моей раздраженной мысли и положительную опору моим догадкам, но, тем не менее, оно было скудно. Оно оставляло главный вопрос не только неразрешенным, а даже незатронутым. Кто сделал дело? И для чего? Кому нужна была смерть этой несчастной женщины?.. Недели три я возился с этой загадкой и, наконец, не вытерпел. Кстати,

⁷ Формы ради (*лат.*)

⁸ Если и не правда, то хорошо придумано (*ит.*)

я должен был выслать деньги Z** и, пользуясь этим случаем, написал ему несколько строк, прося ответа. Он отвечал, что дело совсем замолкло и что догадки его, также как и других, за совершенным отсутствием фактов, способных направить их на какой-нибудь иной путь, волей-неволей останавливаются на самоубийстве.

«Другое лицо, – писал он, – конечно тут было, и факт, что оно так старательно пряталось, конечно, весьма подозрителен. Но мы не знаем, кто это лицо, и нет ничего невозможного, что оно было только пособницею. Оно могло, например, привезти с собой яд, по просьбе О. Б., которой трудно было его достать в таком городке как P**, где малейший шаг с этой целью возбудил бы немедленно толки и подозрения. Против этой гипотезы, разумеется, тяжело говорит показание горничной, что ее госпожа смеялась и весело разговаривала наедине с приезжей, но ведь приезжая могла и не верить, чтобы ее приятельница серьезно решилась исполнить свое намерение. Яд мог быть добыт и вручен, как пистолет или нож, так только, на всякий случай, – и получен вашей кузиной шутя, со смехом, с не раз повторенными уверениями, что она и не думает употребить его в дело без крайней надобности. Может быть, даже она и точно не думала в ту пору, когда получала, а там, когда гостья ушла, – одна минута уныния или отчаяния, и дело сделано – сделано, может быть, даже без твердого умысла и отчета, а так, как говорят, лукавый попутал... Все это очень слабо, конечно, и я, пожалуй, даже скажу – неправдоподобно, но в строгом смысле; нельзя сказать, чтоб это было совсем уже невозможно. К тому же, есть кое-какие невероятности и в другую сторону. Правдоподобно ли, например, чтобы О. Б. доверилась так легко совсем незнакомой женщине, которая назвала себя именем, для О. Б. тоже совсем незнакомым? И как доверилась? Посещала ее тайком от матери, в постоялом доме, открыла ей, как вы пишете, свое сердце, свое отношение к мужу, свои душевные мысли?.. Наконец, гипотеза самоубийства имеет все-таки на своей стороне два факта: во-первых, ключ, найденный внутри (говорят, подсунут снаружи кем-нибудь из вошедших, но не гораздо ли легче предположить, что он был повернут бородкой прямо на выем и выпал, когда снаружи стали стучать), а, во-вторых, – письмо, в котором О. Б. собственноручно свидетельствует о своем намерении... А догадки другого рода не имеют в пользу свою совсем ничего. Если бы было что-нибудь – любовь, например, или ревность, или матримониальный умысел, то трудно себе представить, чтоб этого рода вещи ни прежде, ни после не обнаружили совершенно ничем. У Бодягина были, конечно, любовницы, да и теперь есть, но все это женщины или замужние, или публично скомпрометированные, и, стало быть, такие, которым его жена не могла мешать. К тому же дознано, что ни одна из них в ноябре не шевельнулась с места. Затем, кто была искомая и в какой связи состояла она с О. Б. – это тайна, которую разъяснить, вероятно, могла бы нам только одна покойная. Вам она не открыла ее, но почему вы знаете, в какой степени она была с вами искренна, и не было ли у нее причины открыть вам только часть истины, а насчет остальной умолчать или даже умышленно направить вас на фальшивый след?.. Подумайте и решите сами».

Письмо это вывело меня из себя.

«Проклятый фигляр! – воскликнул я мысленно. – Кондотьерри⁹ ораторских распрей! Профессор судебной гимнастики!.. Ты упражняешься тут надо мной в диалектической гибкости языка!.. У тебя нет уважения к истине, нет убеждений, нет фактов, ясных как день, которые ты не готов бы был опрокинуть вверх дном, перекрыть и вывернуть наизнанку, по первому требованию покупателя!.. Ты сторожишь, как фактор¹⁰ на перекрестке, засматривая в глаза прохожим: не наймет ли тебя кто-нибудь на услуги?.. Все, что угодно, – на все готов!.. Прикажете – сию минуту вам докажу, что женщина эта отравлена! Или вы не желаете этого? Хотите, чтоб я доказал, что она сама отравилась?.. Сию минуту...

Я смял письмо и с отвращением бросил его в огонь. Я был убежден, что все это фиглярство и что Z** хотел только пощеголять передо мной своей изворотливостью. Но не прошло и пяти минут, как я уже чувствовал, что сомнение подкапывается, как крот, под мою непоколебимую истину. «Ну а что, если он прав?» – шептало что-то чуть слышно мне на ухо; и вслед за этим все спуталось у меня в голове.

Долго-предолго длилось еще это бесплодное напряжение мысли. Я строил гипотезы по целым неделям и разрушал их в две, три минуты. Это была работа Сизифа – мучительная и безысходная. Порой, когда мне казалось, что я уже близок к вершине, во мне поднималась решимость, и я начинал обдумывать планы действия. Раза два или три я чуть не *уехал* на родину с этой целью, но каждый раз, в решительную минуту, нелепость задуманного становилась мне вдруг ясна как день, руки мои опускались в унынии, и камень Сизифа катился вниз... Это шло периодически, как симптомы перемежающейся болезни, и периоды уныния совпадали у меня всегда с тяжелым расстройством нервов. Я помню бессонные ночи и помню странные сновидения, которые посещали меня в бреду. Они все были в связи с фатальным событием. Вначале мне часто грезилось, что я напал наконец на след убийцы и отыскиваю ее то в Москве, в номерах, то в P**, то ночью, в уединенном купе вагона. Раза два я мчался за ней на курьерском поезде, где-то в Германии, стараясь изо всех сил припомнить адрес отеля, в котором, я знал, должен ее найти. Раз, это было уж летом, в июльскую душную ночь, – мне грезилось, будто я крадусь в потемках на пятый этаж с агентом сыскной полиции, в руках у которого потайной фонарь... Мы отворили двери отмычкой, пробрались в ее квартиру и захватили ее в постели сонную.

– Она? – шепчет сыщик, направив свет фонаря на ее лицо... Я вглядываюсь: «Она!» Но в эту минуту фонарь потух, и две руки обвилились вокруг моей шеи...

– Останься!.. Ведь ты меня сам приглашал, – шепчет мне на ухо страстный голос, и я вдруг будто бы понял, что все это грезы, что никакого Берлина и сыщика не было, что я в Москве, на Дмитровке, в меблированных комнатах. В объятиях у меня моя попутчица, и она будто бы шепчет: «Смотри же, помни наш уговор. До утра я твоя, но поутру ты выпьешь то, что стоит тут на столе, и тогда счета наши окончены». – «Что такое стоит на столе?» – Она шепчет: «Яд». – «Какой?» – «Тот самый, который я Ольге дала... Не бойся, – он действует быстро, и ты умрешь без мучений... Я видела, она умерла при мне. Усмешка еще не успела сбежать у нее с лица, как на нем уже лежала тень смерти, и в ту минуту все было кончено. Так же легко окончится и с тобой, потому что это тот самый яд...»

Ужас сдавил мне сердце, и когда я проснулся, оно стучало молотом у меня в груди...

Но чаще всего мне снилась Ольга, и снилась как-то всегда одинаково. Сижу будто я один у себя и совершенно спокоен. Вдруг отворяются двери, и входит женщина в черном. Лицо под вуалью. Она бледна и серьезна, но кроме этого ничего особенного. Она подходит, глядит на меня печально и словно хочет сказать мне что-то, но губы ее не шевелятся, и взгляд недвижим... Смутная мысль, что дело неладно, потому как же это она пришла, когда она... того...?

⁹ Кондотьер (*ит. наемник*) – человек, готовый ради выгоды защищать любое дело.

¹⁰ Фактор (*устар.*) – комиссионер, исполнитель частных поручений, сводник.

– И следом за этой мыслью страх крадется холодком вдоль по спине... Видение меркнет, и я просыпаюсь в ознобе.

В исходе года, однако, следы душевного потрясения стали слабеть и небольшая поездка на север, в Б**, вместе с холодным морским купаньем, поправили меня окончательно... Жизнь потекла по-прежнему, мелкой своей стороной наружу. Дела, приятели, книги – все снова вступило в свои права.

Часть II Жюли

I

Отец мой был русский, мать – молдаванка. Они были бедные люди, жили в уездном городе и имели много детей. Я была младшая. Меня – двухлетнюю – взяла к себе на воспитание одна проезжая барыня, которая остановилась у нас случайно. Она была бездетна и скоро, потом, потеряла мужа. Звали ее Анна Павловна, но я всегда ее называла «маман». Она любила меня, держала как дочь и дала мне приличное воспитание. У меня были учителя музыки, танцев, истории, арифметики и чистописания; русскому языку и закону Божию учил священник, французскому и географии – гувернантка. Все было ладно, и судьба моя могла быть совершенно другая, если бы мы с маман не встретились, ко взаимному огорчению, на одной тесной дорожке. У нее были любовники, кто попало: зубные врачи, парикмахеры, странствующие артисты и безбородые молодые офицеры в долгу. Все это я знала еще ребенком от гувернантки моей, мадмуазель Плюшо, которая была очень добра ко мне и наставляла меня, как я должна себя вести, чтобы маман не была вынуждена передо мною краснеть. И долго после того, как мы расстались с мадемуазель Плюшо, я исполняла ее советы, но один случай испортил все. Конечно, маман и сама виновата. Мне было уже 17 лет. Вольно же ей было оставлять меня по целым часам наедине с моим учителем музыки, красавцем, который был у нее, в ту пору, на очереди, и в котором она души не *чаяла*. Вместо того, чтобы оправдать доверие, ему сделанное, он соблазнил меня. Как это случилось, я и сама не знаю, потому что я не была в него влюблена, да и вообще не влюбчива. Но несмотря на уроки мадемуазель Плюшо, я была в ту пору еще неопытна и многого вовсе не понимала, а когда поняла, то уже было поздно и никакое благоразумие не в силах было меня остановить. Теперь я знаю, что это такое – это в крови, и тех, у кого это есть, нельзя строго винить.

Два года мы, таким образом, играли в прятки с маман, и я до сих пор удивляюсь, как она ничего не заметила. Три вещи, впрочем, несколько объясняют ее слепоту. Во-первых, внешность была у меня такая невозмутимая, что сквозь нее ничего не проглядывало наружу. В полном разгаре страсти я смотрела еще такую невинностью, что няня моя, бывало, после свидания, только руками всплеснет. «Творец небесный, – говорила она, – и кто только поверит, глядя на этакую, что уже сквозь все прошла!.. Вишь, очи потупила! Архангелом смотрит! А внутри-то, поди: семь бесов сидит!.. Ах ты тихоня! И как ты только делаешь, что к тебе этот грех не льнет?» Во-вторых, природа меня наделила железными нервами. Никогда, сколько я помню себя, я не теряла присутствия духа. Заставить меня покраснеть – было нелегко, заставить сбиться в ответах, струсить и растеряться – почти невозможно. В-третьих, меня прикрывали. На моей стороне была няня, та самая, о которой сейчас была речь, и горничная, которую я подкупила. Через эту последнюю, впрочем, я и попалась. Сейчас расскажу как, а теперь только прибавлю, что мой учитель музыки был не единственный. Маман их меняла быстро, особенно в это последнее время, и я волей-неволей следовала за нею. После учителя музыки у нас был мозольный оператор, а после оператора – магнетизер, который лечил от всяких болезней тем, что водил руками по телу. У маман был какой-то дар отыскивать этого рода людей, и они тотчас делались у нее домашними, обедали, пили чай, играли в карты. Но возвращаюсь к рассказу. Около этого времени мое воспитание было кончено, и маман начала меня вывозить. У нее был большой круг знакомств, и мне было весело; я много плясала, рядилась, кокетничала, за мной

волочились. Протянись это еще год или два, и я, может быть, составила бы хорошую партию, но судьба распорядилась иначе.

Раз как-то, когда я собиралась на бал, Дуняща, горничная, спалила мне кружева, дорогую вещь. Я рассердилась и в сердцах погрозила ее прогнать: большая глупость, потому что я не могла этого сделать, и она мне сказала это в глаза. Это был первый раз, что она осмелилась мне намекнуть на мое унижение, и я, конечно, умнее бы сделала, если бы стерпела. Спровадить ее из дома было нетрудно. Она воровала белье у маман, и я могла бы ее подвести так, что она никогда не узнала бы после, кому этим обязана. Но я очень вспыльчива, и когда она это сказала, не помню уж, что со мной сделалось. Помню только, что я не дала ей кончить и что она убежала из комнаты вся исцарапанная, с красным опухшим лицом. Маман не было дома, но я этим не много выиграла... Няня моя прибежала ко мне испуганная... «Барышня! Что вы наделали? Зачем прибили Дуняшку? Беда! Послушайте-ка что там идет, на кухне, и как эта сквернавка божится, что донесет обо всем Анне Павловне!»

Тогда только я опомнилась, и мы с няней стали советоваться, что делать. Няня советовала сейчас заплатить Дуняшке, чтобы она молчала, но на беду у меня в портмоне нашлось всего 2 рубля, а покуда няня бегала в сундук за своими, маман вернулась и первая, кого она встретила, была эта девчонка со своим ужасным лицом. Она нарочно не вымылась, чтобы произвести полный эффект. Я ожидала немедленной катастрофы, но ошиблась. Маман заперлась с Дуняшей и долго ее допрашивала, потом кликнула няню. Няня не выдержала и покаялась во всем. Я, в страхе, ждала своей очереди, но маман не позвала меня к себе в этот день. Должно быть, она догадывалась, что мне тоже известны ее грешки, и ей было стыдно.

На другой день, поутру, она пришла ко мне рано, прежде чем я успела встать, и села возле моей постели. Я спрятала от нее лицо в подушку и сделала вид, будто плачу, но я не плакала, мне было только ужасно стыдно, и я боялась, чтобы меня не отослали в семью, как маман иногда грозила, когда была на меня очень сердита за что-нибудь. Представьте же мое удивление, когда я вдруг почувствовала, что маман обнимает меня. Мне стало сперва немножко смешно, но тем не менее я была тронута, особенно когда увидела, что она плачет. «Бедное дитя! – проговорила она по-французски. – Бедная! Бедная, заблудшая по моей вине! Я не сдержала клятвы, которую я дала Богу, заменить тебе мать... Прости меня! Я больше перед тобой виновата, чем ты передо мной...»

Не помню уж, что я ей отвечала, помню только, что я все время прятала лицо у ней на груди или закрывала его руками, чтобы она не заметила, что у меня глаза сухие. Мало-помалу, однако, маман успокоилась, отерла глаза, понюхала табак (привычка, на которую горько жаловались ее любовники), и стала со мной говорить немножко иначе. Она объяснила мне, что я испортила свою судьбу. «Теперь, – говорила она, – ты не можешь уже рассчитывать на хорошую партию, так как из этого может выйти скандал, а скандал погубит тебя окончательно. Но что больше всего меня огорчает, – продолжала она опустив глаза, – это то, что мы с тобой должны расстаться. Тебе нужна другая точка опоры и более строгий присмотр, а я слишком стара и, как опыт теперь доказал, слишком слаба...»

Я не дала ей кончить, соскочила с постели, и на этот раз в неподдельных слезах бросилась перед ней на колени. «Маман! Не губите меня! – воскликнула я. – Не отсылайте домой! Что хотите со мною делайте, только не отсылайте туда!»

Она была тронута и отвечала, что сама не желала бы этого. Она сделает все возможное, чтобы пристроить меня тут, где-нибудь поблизости, чтобы мы могли видеться... Сказав это, она велела мне встать и одеться, потом усадила возле себя и стала читать наставления, особенно налегая на скрытность: зачем я не призналась ей тотчас во всем? «Счастье еще, – сказала она, между прочим, – что все это не имело других последствий!» В заключение упомянуто было слегка о моем вчерашнем поступке с Дуняшей. «Это дурно, мой друг! – говорила маман. – Надо быть снисходительною ко всем, потому что мы все люди, и все грешны».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.